БЛАВЯНСВЕТЕ ISSN 0132-1366 Лест РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК





РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК



Содержание

СТАТЬИ

Филатова Н.М. (Москва). Польские литераторы об Александре I	3 18
1856 года)	29 41 53 64 79
СООБЩЕНИЯ Сухова Н.Ю. (Москва). Радослав Радич и Московская духовная академия ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ	105
Петровская О.В. Революционная Россия 1917 года и польский вопрос: Новые источники, новые взгляды	112 116
<i>ЮБИЛЕИ</i> К юбилею Григория Львовича Арша	124
<i>НЕКРОЛОГИ</i> Памяти Виктора Петровича Грачева	126
Tiamain Dhittopa Helposhia i paiesa	120

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

М.А. РОБИНСОН (главный редактор), Г.К. ВЕНЕДИКТОВ, Р.П. ГРИШИНА, В.И. КОСИК, Г.Ф. МАТВЕЕВ, В.В. МОЧАЛОВА, К.В. НИКИФОРОВ, С.В. НИКОЛЬСКИЙ, В.Я. ПЕТРУХИН, Л.А. СОФРОНОВА, А.С. СТЫКАЛИН, Б.Н. ФЛОРЯ, В.А. ХОРЕВ, Т.В. ЦИВЬЯН

А.С. Стыкалин (отв. секретарь)

Заведующие отделами: И.Е. Адельгейм (отдел литературоведения), О.В. Белова (отдел культурологии), А.С. Стыкалин (отдел истории)

Зак. редакцией Г.А. Михеева

Сотрудники редакции: Л.А. Авакова, Е.В. Пономарева, И.Ю. Веслова

Адрес редакции: 119991, Москва, Ленинский пр-т, 32а, Телефон 8-495-938-01-20 E-mail: zhurslav@mail.ru

Рукописи принимаются в электронном виде с распечаткой (1 экз.) объемом: статьи не более 40 тыс. знаков, сообщения — до 30 тыс., рецензии — до 20 тыс. знаков. Статьи и сообщения должны сопровождаться краткой аннотацией (200—300 знаков) на русском и английском языках и ключевыми словами (5—7 слов).

Научный аппарат должен быть оформлен в соответствии с правилами, принятыми в журнале. Правила оформления см. на сайте: http://inslav.ru. Авторы должны предоставить сведения о степени, должности, электронную почту и контактный телефон.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.



[©] Российская академия наук, 2011 г.

[©] Редколлегия журнала «Славяноведение» (составитель), 2011 г.



© 2011 г. Н. М. ФИЛАТОВА

ПОЛЬСКИЕ ЛИТЕРАТОРЫ ОБ АЛЕКСАНДРЕ І

Предметом исследования в данной статье является литературный образ знаковой для польской истории фигуры, российского императора и польского конституционного короля — Александра I. Предпринята попытка исследования разных граней образа императора, высвечиваемого разными жанрами литературы.

The article analyses different interpretations of the personality of Alexander I – the Russian tsar and Polish constitutional king – in Polish literature. It focuses on the transformations of this historic figure in the context of literary conventionality and in the frame of Polish national and historical consciousness. An attempt is made to consider different components of Alexander I's image in different genres of literature.

Ключевые слова: Александр I, историческое сознание, национальное сознание, литературный образ, царь, король, образ России и русских.

Предметом исследования в данной статье является литературный образ знаковой для польской истории фигуры, российского императора (1801–1825) и польского конституционного короля (1815–1825) – Александра І. В центре нашего внимания проблема «история в зеркале культуры», а именно те трансформации, которые образ исторической личности претерпевает в контексте литературных конвенций и художественного сознания, и то, каким он в итоге запечатлевается в памяти культуры. Разные жанры литературы высвечивают различные грани образа императора. Взятые вместе, они дают возможность воссоздать и официозный взгляд на фигуру Александра I – «воскресителя Польши» в современной ему публицистике и панегирической литературе, и особенности личного восприятия монарха польскими современниками, отразившиеся в воспоминаниях, дневниках и трудах историков – свидетелей эпохи, и преломление образа царя в позднейшей польской художественной литературе¹.

Итак, Александр I. Выдающийся политический деятель своего времени, он представлял собой многогранную личность, являвшуюся современникам — как на политической арене, так и при личном общении — в разных ипостасях. Первый русский царь на польском престоле, взошедший на него как польский король и конституционный монарх. Покровитель и «благодетель» поляков, вопреки явному недовольству русского общества вернувший на карту Европы в 1815 г. государ-

Филатова Наталья Маратовна – канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН.

¹ Наиболее полный список польской панегирической литературы, обращенной к Александру I, приводит Ежи Лонтка в научно-популярной книге, посвященной фигуре российского императора и польского короля (см. [1]). Кроме этой книги, рассматриваемая нами тема нашла краткое освещение в «Словаре польской литературы XIX в.» (статья «Александр I», автор Я.М. Рымкевич) (см. [2]). Образу Александра I в польской мемуарной литературе посвятила несколько страниц А. Невяра [3].

ство под названием «Королевство Польское». Неограниченный самодержавный император огромной Российской империи, обращавшийся к полякам в Сейме с призывом дать пример претворения в жизнь самой либеральной в Европе конституции его российским подданным и самой Европе. Глава Русской православной церкви, испытывавший особые симпатии к католицизму. Самодержец Всея Руси, чье правление вошло в историю благодаря либеральным начинаниям первой половины его царствования. Победитель Наполеона, названный «ангелом мира» и приветствуемый во многих европейских столицах, кумир салонов и великосветских дам. Тот, при ком расцвели и были запрещены тайные общества, создатель призванного противостоять революционным движениям в Европе Священного союза монархов. Герой до сих пор живой легенды об удалившемся от мирских забот старце Федоре Кузьмиче. Каким же видели (или хотели видеть) Александра I поляки?

Первый объект нашего исследования — польская панегирическая литература, прижизненная и посмертная. Она восходит к началу правления Александра I — к 1801—1806 гг., когда в связи с покровительством русским императором польскому просвещению и воссозданием им Виленского университета в 1803 г. на польских землях (в первую очередь, находившихся в составе Российской империи) набрало силу движение, ориентированное на него. К Александру I были обращены взоры выдающихся польских ученых — Я. Снядецкого, Т. Чацкого. Тогда Александру I (по случаю его дней рождения, годовщин вступления на престол) польские педагоги посвящали свои речи, сопровождали упоминанием о монархе выступления перед учениками. В этих текстах Александр I выступает прежде всего как меценат науки и просвещения.

Так, Филип Голаньский в речи, посвященной дню рождения Александра I и произнесенной по случаю вручения наград лучшим студентам Виленского университета в 1803 г., прославляет «отрадную и прекрасную эпоху Александра, которому столь великая часть мира обязана приумножением и созданием источников просвещения и счастья» [4. S. 22]. Виленскую Академию, удостоившуюся Высочайшего покровительства, Голаньский сравнивает с афинскими сооружениями Перикла, инициировавшего постройку Парфенона, Пропилеев и Одеона. Можно прочесть в этом отголоски польской концепции союза с Россией, в котором Россия должна была сыграть роль Рима, а Польша — роль хранительницы античной культуры Греции. Такие сравнения были популярны в первые годы XIX в. В 1805 г. Г. Коллонтай, восхваляя Александра I за поддержку науки и образования на бывших польских землях, писал: «Афины не снискали столь почетной оценки от своих завоевателей: римляне не были справедливы по отношению к грекам» [5. S. 265].

В 1807 г. Анджей Левицкий в речи, посвященной годовщине коронации Александра I и произнесенной в честь начала учебного года в Виленской гимназии, утверждал: «Среди неисчислимых деяний его гения и великодушия одно из прекраснейших — это дело просвещения [...] Он видит себя и свой народ в бесчисленной череде веков и среди бесчисленных грядущих поколений и считает своей обязанностью основать их счастье на распространении и развитии просвещения» [6. S. 3]. В 1811 г. Ян Снядецкий, открывая учебный год в Виленском университете и также посвятив свою речь годовщине коронации монарха, представлял Александра I как покровителя учащейся молодежи, жреца храма науки: «Науки окружали Его Величество на рассвете, и они стали одновременно его любимым занятием [...] Все будут почитать, прославлять век Александра I и называть его веком основательного просвещения и хорошего воспитания молодежи» [7. S. 2, 18].

Расцвет польских панегириков Александру I приходится на 1814—1815 гг. и первое время после образования Королевства Польского под его скипетром. К ним

можно причислить многочисленные речи государственных деятелей, ученых мужей, проповеди иерархов католической церкви и других представителей польского общества. Например, проповедь А. Пражмовского по случаю провозглашения Королевства Польского и принесения присяги императору Александру I в 1815 г., проповедь «Об обязанностях по отношению к Александру I, императору всероссийскому, королю польскому» ксендза Ясиньского и т.д. [8–11]². В 1818 г. была даже напечатана брошюра «Его Величеству Александру I, императору Всея Руси, королю польскому, любимому отцу народа глухонемые варшавского института» [14].

В написанной в 1814 г. оде О. Копчиньского «Ad Alexandrum Rossiarum Imperatorem, Poloniaeque Regem, terras suas invisentem» поэт восхвалял «благословенную десницу Александра I»:

Już Szwecji i Lechii część z Państwem złączona, Czuje duch Alexandra w głębi swego łona. Niech reszta – ziemia Słowian niech cała przybędzie, Działać duch Aleksandra nie przestanie wszędzie

(Перевод на польский язык Ю.Д. Минасовича)[15. S. 226].

Часть Швеции и Лехии, соединившись с государством, Чувствует отцовскую опеку Александра. Пускай и остальная часть славянская прибудет, Дух Александра воцарится всюду³.

Прославляли Александра I в стихах как записной сочинитель од Марцин Мольский, так и более серьезные поэты. Мольский – в соответствии с официальной риторикой – писал об объединении благодаря Александру I двух братских народов:

Od dwóch wieków w Rocznikach Narodowych stoi, Że nam chcieli królować poprzednicy Twoi [...] Podzielone mniemania na przeszkodzie stały: Nie mógł z Orłem Dwugłowym zjednoczyć się Biały. Cóż połączyło dzisiaj Dwa Bratnie Narody? Wspaniałość Aleksandra, i świeże przygody [...] W Mścicielu znalazł Naród Obrońcę i Pana! Wojsko karne, szlachetne, bez groźnej postaci, Zdawało się przychodzić na ziemię swych braci...[11]

История гласит, что встарь Хотел сидеть на нашем троне русский царь [...] Но кое-кто не мог с тем согласиться, Двуглавому орлу мешая с Белым слиться. Залогом нынешнего единенья — Величье Александра, общие стремленья [...] В нем Избавителя и Властелина чтит народ! И рыцарская армия его — отменные солдаты Не угрожает польскому родному брату.

На балах и концертах, устраиваемых в честь прибытия в столицу нового польского короля, звучали специально сочиненные по этому случаю музыкальные и поэтические сочинения. Одним из них был знаменитый в то время полонез, написанный Каролем Курпиньским по заказу Сейма, Сената и Государственного

² Речи польских ученых, обращенных к Александру I, публиковались также в изданиях «Gazeta Krakowska» [12. 1814. 28 IX] и «Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego» [13. 1815. № 991

³ На латинском языке ода О. Копчиньского была опубликована в Варшаве в 1816 г., польский же перевод публиковался в [13. 1816. № 81] (см. также [16]).

Совета на текст Людвика Осиньского и Францишека Гжималы. Он начинался со слов:

Witaj, Królu polskiej ziemi, Ojcze – między dziećmi swemi. Tyś nam wrócil byt i prawa, Niech Ci będzie wieczna sława! (цит. по [17. S. 11]). Славен будь, король польских земель, Здесь ты – отец среди своих детей. Ты даровал нам жизнь, законы.

Курпиньский написал в 1814—1826 гг. более десятка произведений (гимны, полонезы) в честь Александра I, которые исполнялись во время пребывания императора в Варшаве. Уже в 1814 г. появился его «Гимн в честь Александра, императора российского», о котором сам композитор писал как о польской национальной песне.

За это вечные тебе поклоны!

Хорошо известно, что сочиненная в 1816 г. Алойзы Фелиньским песня «Boże, coś Polskę» («Боже, Ты, который Польшу...»), которая впоследствии стала восприниматься как национальный гимн, задумывалась как гимн королевский и была посвящена Александру І. В первоначальной версии текста, опубликованной 20 июля 1816 г. в «Gazeta Warszawska», монарх прославлялся как «Ангел мира», объединивший под своим скипетром «славные битвами друг с другом два братских народа» [18. 1816. 20 VII]. После восстания 1830—1831 гг. эти строфы были изменены.

Воздавало почести Александру I и польское масонство. Когда он первый раз въехал в Варшаву в качестве польского короля, Великий Восток Польши, представляющий различные польские масонские ложи, украсил свое здание буквой «А», под которой можно было прочитать: «Recepto Caesare felices» (осчастливленные прибытием императора). Масоны пели в честь императора гимны, которые в 1817 г. были опубликованы особым изданием и разосланы во все ложи [19]. Вот пример такого гимна:

O Aleksandrze nasz,
Serce i życie masz
Poddanych Twych.
Przyjmij ofiarę tę!
Mularz uczucia swe
Tobie monarcho dziś
Oddaje w hold [...]
Dla Cię radosne łzy
Ronią, że wracasz ty
Ojczyznę nam.
Mularze, wstańcie wy,
Niech przez trzy razy trzy
Ku nieby wznosi się
Wdzięczności głos (цит. по [20. S. 180–181]).

О, Александр наш, всеми любим, Сердце и жизнь тебе отдадим. Прими эту нашу дань! Владыкою нашим стань, Сегодня все масоны бьют тебе поклоны [...] Слез радостных не счесть, Ты вернул нам отчизну и честь. Сплотитесь, масоны, пусть каждый Не раз и не два, а многажды На короля свой взор устремит И небо поблагодарит.

Культ Александра I был жив в польских ложах вплоть до их закрытия в 1821–1822 гг. Нередко их украшением служили его бюст или портрет.

Содержание всех панегириков новому польскому королю сводилось примерно к одному и тому же. Александр I прославлялся в них как «Ангел мира», положивший конец череде войн, как победитель, чуждый мести, благосклонный к побежденному народу, милостивый и великодушный к нему, как благодетель поляков, покровитель всего польского и как объединитель братских славянских народов (русского и польского). Последнее, правда, звучало в основном в официозных текстах.

Так, А. Пражмовский славил Александра I как «монарха, который дышит великодушием, душу которого не затронуло чувство мести, который сумел оценить энтузиазм народа, пусть и направленный против себя», который, «едва переступив границы польской земли, превратился в заботливого опекуна польской нации» [8. S. 3–4].

Особо подчеркивалась вписанность нового монарха в польскую историю, его преемственность с польскими королевскими династиями, героической традицией польских королей. Эта идея — рассмотреть Александра I в отрыве от России, стремление перенести его на польскую почву была чрезвычайно важна для исторического сознания поляков. К Александру I как к императору России апеллировали лишь в официальных текстах, ради соблюдения политического этикета.

Правда, кроме опубликованных «официальных» литературных откликов на образование Королевства Польского, были и иные, известные тогда лишь в рукописном варианте. В них также встречались строки, приветствующие властителя, «что положил конец братоубийству и сделал так, что два воинственных народа, соединенные узами согласия, дружески подали друг другу руки» (А. Плихта «Ода в честь мира в 1815 г.») [21. S. 272–274]. Однако характерно, что, прославляя Александра I, авторы не публиковавшихся тогда стихов явно воспринимали фигуру монарха в отрыве от России.

Так, автор стихотворения «Сон поляка во время сейма 1818 г. в Варшаве» призывал Александра I продолжить традиции Ягеллонов, вооружиться мужеством Яна Собеского и стать подлинным отцом польскому народу. Одновременно он стремился отделить монарха от его русских подданных. Апеллируя к важной для польского национального сознания идее незапятнанности польской истории кровью своих королей, он предлагал Александру I превратиться в «своего» короля, слиться с национальной традицией. Поляки вернее и надежнее, уверял он монарха устами «польского старца». Напротив, в «русской столице» император должен постоянно опасаться предательства и бояться за свою жизнь. Впрочем, мечтал об ополячивании Александра I лирический герой стихотворения лишь во сне. Наяву будущее соединенной с Россией Польши казалось ему туманным — пробудившись, он «не знает, что случилось потом с Александром и Варшавой» [21. S. 278–279].

Второй всплеск панегириков Александру I — это 1826 год. На смерть монарха — он умер 19 ноября (1 декабря) 1825 г., но в Королевстве Польском официальное сообщение об этом появилось в газетах лишь 3 января 1826 г. по григорианскому календарю — и по поводу символической траурной процессии, имевшей место в Варшаве в апреле 1826 г. (см. [22]), было написано и напечатано множество стихов — элегий, плачей, а также произнесено много речей и проповедей (см., например, [23–30]). Большинство стихов, по преимуществу весьма слабых, посвящено воскресителю Польши, покровителю поляков, возложившего на себя «корону Зыгмунтов», а также привязанности поляков к своим королям.

Общая черта этих произведений – обращение к наследникам Александра I, великим князьям Романовым, с надеждой на продолжение политики их предшественника. Одно из стихотворений даже обращено через голову Николая I к его

сыну, будущему Александру II, в то время маленькому мальчику. Доходило до верноподданнических строк, которые сегодня, зная о последовавших в 1830—1831 гг. событиях и будущему отношению поляков к России, трудно читать без иронии. Например, Ф. Яскульский пишет о братьях Александра I:

Ta w nich co w Aleksandrze krew wspaniała płynie. Pod ich Polak wspaniałą tarczą nie zaginie. Z nich jednego Bóg wezwał na tron naszej ziemi, W nich położmy nadzieję będziem szczęśliwemi [31. S. 6].

В их жилах рыцарская кровь течет, Поляк под их эгидою не пропадет. Бог одного из них на польский трон определил, На счастье нам надежду подарил.

С. Братковский же уверяет, что польский народ и после смерти Александра I

Pod berłem Piastów, Jagiełłów swobodny, Ktory czcił, kochał swych Ojców i Panów, Wiecznie czcić będzie i kochać Romanów [32, S. 3].

Наследники Пястов и Ягеллонов, Творцов свободных законов, Романовых будут вечно ценить, Помнить, любить и чтить.

Но тогда, в эпоху, когда будущее Королевства Польского оставалось неясным, все это читалось польскими современниками по-другому.

Пожалуй, наиболее ярко и образно выразил прижизненное восприятие фигуры Александра I его польскими современниками поэт и архиепископ Я.П. Воронич. Примас Королевства Польского, проповедовавший в эпоху конституционного Королевства Польского славянофильские идеи, в проповеди по случаю траурной церемонии в Варшаве утверждал, что Александр I поляков «как родных деток привлек к своему сердцу», поскольку «расщепленная ветвь должна прилепиться к своей основе, чтобы из одного корня черпать жизнь и славу». Воронич восклицал: «О братья! Уже одно то, что сегодня мы оплакиваем своего короля, доказывает всему миру, что мы живы, что мы умеем и любить своих королей, и сожалеть о них, что цепь наших Мечиславов и Болеславов, на время разорванная, вновь склеена, что нам и нашим новым поколениям вновь разрешено называться именем отцов» [33. S. 69].

Эта речь Воронича была переведена на русский язык и опубликована в «Вестнике Европы». В 1826—1830 гг. это издание несколько раз печатало материалы, отражавшие официальную реакцию поляков на смерть Александра I — их царственного благодетеля [34–35].

Особняком стоит одно интересное литературное произведение, датированное 1 января 1826 г. Это раннее литературное упражнение юного Зыгмунта Красиньского (автору не исполнилось тогда 14 лет), первоначально не предназначавшееся для печати, «Беседа Наполеона с Александром I на Елисейских полях» (т.е. в Элизиуме, где, согласно древнегреческой мифологии, собираются души праведников) [36]. Оно написано по образцу классицистических «Диалогов мертвых» Фенелона, Фонтенеля и И. Красицкого. Только, в отличие от произведений этих авторов, главными героями избраны недавно умершие политические фигуры. Александр, подводящий итоги своей жизни и правления, представлен здесь как идеальный властитель, защитник свободы и покровитель народов Польши и Греции. Точнее, воплощением благородства и рыцарства являются оба героя — и Наполеон, и Александр I, которые стремятся превзойти друг друга во взаимных похвалах. Российский император сожалеет, что не выполнил до конца свою миссию

освобождения Греции. Наполеон утешает своего бывшего противника уверением, что тот прославится у потомков воссозданием Польши, и интересуется будущей судьбой поляков, утверждая, что теперь, после смерти Александра I, поляки «пожалеют о нем, и прольют о нем слезы, тем более, что они не уверены в будущем». Александр I туманно отвечает, что желает полякам «счастья и свободы, которую хотел бы им дать». Ежи Фецько, рассматривавший это произведение в контексте проблемы «Красиньский и Россия», писал о неудачном выборе Александра I как аллегорического символа свободы, героизма и рыцарства [37. S. 178–184]. На наш же взгляд, этот выбор в тот момент отражал отношение к императору большой части польского обшества.

Иной образ Александра стал плодом литературы, созданной после событий 1830—1831 гг., в корне поменявших отношение к России и фигуре российского царя. Посвященные истории конституционного Королевства Польского произведения историков-романтиков М. Мохнацкого, К. Хоффмана, С. Бажиковского, очевидцев эпохи, в сущности близкие к мемуарной литературе, создавались после национально-освободительного восстания 1830—1831 гг. и его поражения. Для них характерен взгляд на предшествующий период истории сквозь призму этих событий. Они стремятся увидеть в эпохе Александра I предысторию восстания и не жалеют черных красок для истории конституционного Королевства. Однако и на этом фоне характеристики некогда любимого поляками монарха отличаются амбивалентностью.

Наиболее крайнего взгляда придерживается лишь Мауриций Мохнацкий, прямолинейный в своих оценках. В политике Александра I он усматривает изначальный целенаправленный обман поляков — ибо еще в Тильзите российский император убеждал Наполеона не оставлять на карте слова «Польша». По мнению Мохнацкого, Александр I никогда не был по-настоящему либеральным, он лишь какое-то время «играл в Королевстве Польском довольно забавную роль либерального царя», однако очень недолго, лишь до тех пор пока международная ситуация не послужила предлогом для «снятия этой маски» и вступления на антиконституционный путь [38. S. 157].

Для других историков – свидетелей эпохи Александр I – это фигура, полная загадок и противоречий: противоречий между деспотизмом и либерализмом, между русскими, а порой даже и греческими, византийскими чертами и европейскостью, наконец, между Россией и Польшей, православием и католицизмом. Станислав Бажиковский, например, признает, что «Александр I – это звезда, опередившая и времена, и место» [39. S. 202]. Полагая, что польский вопрос являлся осью жизни монарха, он утверждает: «Польша ему многим обязана. Поляк должен с уважением вспоминать его имя, этого требует справедливость. Со смертью Александра для Польши кончаются дни надежды и преуспеяния, наступают времена боли, катастроф и траура» [39. S. 153].

И историки-романтики, и мемуаристы по-прежнему стремятся отделить монарка от России, вписать его фигуру в историю Европы, увидеть в нем просвещенного европейца и в то же время показать несовместимость его либеральных убеждений с «русскими представлениями». Так, Кароль Хоффман пишет, что «жизнь, карактер и дела Александра принадлежат скорее истории Европы, нежели истории России. При дворе, наиболее самовластном в Европе, он получил тщательное нравственное и либеральное воспитание [...] Его искренним желанием было вернуть бытие несправедливо обиженному народу, смыть позор, который запятнал трон России» [40. S. 79–80]. Но исполнению желаний царя помешало то, что, согласно Хоффману, «Александр знал либеральные институты лишь по названию, но не по содержанию, любил их ради моды, а не за действительные преимущества. Разве могли быть знакомы северному деспоту конституционные понятия, которые познаются лишь с опытом? [...] Когда он убедился, что, желая быть Александром Польским, нельзя быть Александром Русским, он начал вбивать нам (полякам. – $H.\Phi$.) в голову собственную конституционную теорию» [40. S. 84–85].

Видный государственный деятель и поэт Каэтан Козьмян стремится подчеркнуть, что в «Королевстве Польском Александр отделял себя от Российской империи и хотел, чтобы его в Польше воспринимали лишь как польского короля» [41. S. 70]. Для мемуариста также важно, что «многое позволяло предположить, что в душе он (Александр I. – $H.\Phi$.) был католиком» [41. S. 83]. В то же время К. Козьмян считает, что «среди поляков мало тех, кто мог бы непредвзято судить об этом императоре [...] Чтобы быть хорошим и беспристрастным судьей императора Александра, надо сойти с польской и национальной точки зрения и перейти на точку зрения космополитическую, что для поляков является самым трудным» [41. S. 53–54]

Оценки личности Александра I авторами воспоминаний, безусловно, разнятся, представляя широкую палитру – от полной апологии в мемуарах государственных деятелей консервативного направления до резкого обличения революционером В. Лукасиньским, писавшим прямо, что Александр был «настоящим русским царем», еще худшим деспотом, чем великий князь Константин, ибо был лицемерен, «носил маску мягкости и доброты, хотел походить на великодушного римского императора Тита, но часто забывался и показывал зубы и когти» [42. S. 89, 98]. Лукасиньский утверждает, что императора в Польше звали не иначе как «московский царь» [42. S. 42]. Последний, по словам радикального патриотического деятеля, не понимал, что делает, и даже, чего хочет, и не умел привязать к себе ни массы, ни отдельных лиц. Неудачу польской политики Александра I Лукасиньский объясняет историческими различиями между Россией и Польшей и разным отношениям в этих странах к фигуре монарха. По его убеждению, «поляки отвыкли и утратили желание и инстинкт повиновения какой бы то ни было династии. Претендовать, чтобы новый монарх, например Александр I, приобрел в Польше такой же авторитет, как в России, значит требовать неисполнимого». Если в России монарх рассматривается как помазанник Божий и безусловное послушание ему, не принимая во внимание, каков он, есть обязанность каждого подданного, то в Польше, свободно избранный или же пришедший к власти путем силы, он может рассчитывать лишь на условный авторитет и послушание. Александр же не сумел заслужить привязанности поляков из-за своего пренебрежительного отношения к конституции, которую его приспешники сделали мертвой буквой [42. S. 99–100].

Благосклоннее всего к Александру I польские дамы. По словам Клеменса Колачковского, двоюродного брата Иоанны Грудзиньской, морганатической супруги великого князя Константина Павловича, «никто не был более почтительным к женщинам и более привлекательным в их глазах, поэтому прекрасная половина человечества везде была на его стороне» [43. S. 21]. Польские женщины сохранили об Александре I впечатление как о великосветском человеке с безукоризненными манерами, рыцарственно-благородном, аристократически простым и доступном, не имеющем ничего общего с «северным дикарем», как шутливо называл себя сам император, общаясь с европейцами. В подобном ключе вспоминают о нем А. Потоцкая, В. Фишерова, С. Шуазель-Гуфье, уроженка Литвы, пользовавшаяся вниманием и личным покровительством Александра І. Последняя, восхищаясь личностью Александра, сравнивает его с Наполеоном, недостаточно любезным, по ее мнению, по отношению к польским дамам. Шуазель-Гуфье замечает, что ей до последней степени не нравились военные приемы французского императора, «особенно по сравнению с приветливостью, с изысканной вежливостью императора Александра и его свиты» [44. С. 280]. Сравнение двух монархов побуждает ее к далеко идущим выводам – побывав в 1818 г. во Франции, она записывает: «Я невольно сравнивала тот холодный эгоизм, тот тон ледяного равнодушия, который, в общем, господствует в парижском обществе, искусственные потребности, вызванные пустотой, ненасытную алчность, пестроту политических взглядов, размеренный придворный этикет. Я невольно сравнивала все это с ласковой рыцарской приветливостью, столь свойственной русским и полякам» [44. С. 348]. Отзывы Шуазель-Гуфье о Александре I всегда восторженны: она пишет о «мудрости, которую он проявил в течение всего своего славного царствования», о том, что его «восшествие на престол ознаменовалось актами справедливости и благотворительности» и что «ему-то, главным образом, русская армия обязана той прекрасной военной выправкой, тем совершенством дисциплины, которые справедливо вызвали восхищение всей Европы и доставили ей те победы, которыми она теперь может по праву гордиться». И конечно же, она не оставляет без внимания его успехи у польских дам, полагая, что восторженное отношение к личности Александра І распространяется на все польское высшее общество: «[...] безграничная галантность государя не поддается описанию. Никто в такой степени не обладал искусством придать грациозный оборот самым обыкновенным выражениям и удивительным тактом, проистекавшим не только от находчивости, но и от редкой сердечной доброты [...] Мы проводили государя до кареты, и тетушка повторяла в то время, как он садился в карету: "Как прекрасен, как восхитителен, несравненен!" [...] Отношение Александра ко всем просьбам, с которыми к нему обращались, было в высшей степени ободрительное. Даже отказывая в просьбах, он был так приветлив, выказывал столько участия и чувствительности, что, казалось, отказ огорчал более его, чем то лицо, которое обращалось к нему с просьбой», и т.п. [44. С. 251, 274, 342, 346].

Ей вторит Виридианна Фишерова: «Император Александр и в своей стране (характерно, что автор имеет в виду Королевство Польское. – $H.\Phi$.) таков, какому удивлялись в Париже. Он всегда любезен, не уклоняется от приглашений частных лиц и старается при этом, чтобы в нем видели не монарха, а благовоспитанного светского человека. Говорит столько комплиментов, что их невозможно запомнить. Я даже заметила, что, когда он находится в Варшаве, барометр веселья идет вверх [...] после его отъезда все возвращается к обычной апатии и принужденности» [45. S. 401].

Менее восторженна Анна Потоцкая, которая заявляет, что Александра I «приняли с почтительной и спокойной приветливостью, не имевшей ничего общего с энтузиазмом, который возбуждал Наполеон». Однако и она отмечает, что в 1815 г. «Александр вступил в Варшаву в двойном ореоле – великодушного миротворца и милостивого воссоздателя Польши. Самоуверенность, которая дается только счастьем, и грация манер увеличивали еще более обаяние императора [...] Император приехал со своим штабом польских генералов, в польском мундире и совсем без орденов, только в одной ленте Белого Орла, как бы заставляя этим забыть, что он царствовал и над другими народами, и желая возбудить в нас любовь и доверие к себе. Его обворожительные манеры, мягкое и приветливое выражение лица произвели на всех неизгладимое впечатление, и, будем откровенны, легкость, с которой мы, поляки, поддались очарованию, довершила остальное. Я думаю, что в тот день Александр, увлеченный силой произведенного им впечатления, сам искренне мечтал о свободной и независимой Польше, в которой он нашел верных подданных» [46. С. 247–248]. По словам Потоцкой, встречая нового польского короля в Варшаве после Венского конгресса, польские дамы сначала намеревались приветствовать его в виде славянских богинь с хлебом и солью в знак мира и союза двух северных народов. Знаменательно, что княгиня Радзивилл, для которой император был «посланником Бога» и «ангелом-рыцарем», посвятила ему «L'histoire de ma vie» («История моей жизни») (см. [47. S. 200]).

Несомненный успех российского императора и польского короля у женской части польского высшего общества оспаривает лишь В. Лукасиньский. Он утвер-

ждает, что после образования Королевства Польского среди общего хора похвал можно было услышать и шепот недовольства. Многим не понравилась личность императора, «под этой смеющейся маской увидели хитрость и имитацию, а в глазах — что-то неуверенное и безумное, даже женщины, чьи умы были давно подготовлены многочисленными комплиментами, нашли его малосимпатичным, принужденным и искусственным (artificiel). Таково было мнение об Александре, когда он уезжал из Варшавы...» [42. S. 37]. Безусловно, не все могли быть в восхищении от императора, но в целом слова Лукасиньского, из-за радикальности его политических взглядов и печальной судьбы (воспоминания писались много лет спустя после описываемых событий, во время заключения), резко выпадают из общей картины.

В целом же в польских воспоминаниях представителей светского общества об Александре I преобладают мотивы двойственности, загадочности, неразгаданности, противоречивости, связанной с принадлежностью к России и Европе одновременно.

Вот что пишет Антоний Островский: «Не только поляки не могли справиться с тем, чтобы расшифровать характер Александра: даже после смерти осталось великой загадкой, чем он был на самом деле, когда ангелы, а когда демоны руководили его умом. Но верно то, что никто с большей видимостью правды не говорил неправды [...] столь же непостоянным был Александр в своих социальнополитических принципах, в нем всегда шла игра сентиментального воображения, неисполнимого желания быть одновременно справедливым деспотом и самым либеральным человеком. То в нем брал верх абсолютизм, то демократичность, такая внутренняя борьба была причиной разных несоответствий [...] противоречия одних действий другим [...] непрестанной борьбы чистой правды с настоящим обманом, почти невинной простоты с самой ловкой хитростью» [48. S. 567]. А Клеменс Колачковский таким образом характеризует императора: «Кто только первый раз имел возможность его близко видеть, сначала был покорен его прекрасным, серьезным и одновременно кротким обликом и с трудом избегал очарования, которое император сначала распространял на каждого. Однако присмотревшись ближе к выражению его лица, можно было заметить что-то неискреннее в глазах, что-то холодное в улыбке. Никто из монархов лучше не играл своей роли [...] Он так хорошо собой владел, что никто из окружающих не мог похвастаться, что проник в его мысли» [43. S. 21–22].

Польские мемуары отразили и постепенную перемену отношения к новому королю в польском обществе. Отказ от либерального курса, политическая ситуация в Королевстве Польском, которая после 1820 г. оставляла желать лучшего, репрессии в Виленском учебном округе – все это не могло не сказаться на образе монарха в польском сознании. Мотив разочарования выразил, в частности, Игнаций Прондзыньский, писавший: «Когда император Александр искушал нас лучшим будущим, когда он дал нам законы и воскресил надежду на воссоединение широчайших владений наших предков под одним скипетром и с одними и теми же свободами, Польша к нему прильнула, но скоро испугалась жестокой ошибки. Тут же рядом с книгой законов, которой он присягал, поднялась железная рука, которая их нарушала. Мимо его ушей шли просьбы народа, ничего не значила порядочность, подлость вышла на почетное место. Александр умер, утратив сначала ту славу, которую приобрел в народе [...] однако смерть его вызвала более печали и беспокойства в Польше, чем в России, из-за обоснованных опасений перед наследником» [49. S. 4]. Известно, например, что, когда в 1830 г. шел сбор средств по подписке на памятник покойному императору, некоторые польские воинские подразделения внесли столь ничтожные суммы, что командование вернуло им подписные листы [50. S. 67]. Однако высший свет в меньшей степени был затронут этой переменой. Сын Каэтана Козьмяна Анджей Козьмян вспоминал о некоем Иоахиме Овидзком, авторе заранее заготовленной на смерть Александра I речи, который читал ее в обществе, заливаясь слезами [51. S. 343]. В мемуарах отмечены и браслеты с надписью по-французски «Наш Ангел на небесах», в знак траура надетые великосветскими дамами после смерти императора. Образ Александра I, созданный пером представителей образованной части польского общества, все же в целом положителен. Такова была благодарность за воссоздание польской государственности и полонофильство.

Как же эта сложная и противоречивая фигура отразилась в польской художественной литературе? Следует констатировать, что Александр I – один из вершителей исторических судеб Польши – так и не стал героем ни одного значительного произведения польской литературы. В романтической литературе, которая сыграла ключевую роль в формировании польского исторического сознания, образ Александра I был поглощен собирательным образом царя-деспота, с которым ассоциировался прежде всего его преемник Николай І. Этот образ создан А. Мицкевичем, Ю. Словацким, С. Гарчиньским, поэтами Ноябрьского восстания 1830–1831 гг., которые не называют царя по имени, ибо для них символична не конкретная личность, а само это слово, воплощающее деспота. Исследователи обращают внимание на то, что царь в «Отрывке» III части «Дзядов» А. Мицкевича вобрал в себя черты и Александра I, и Николая I [52. S. 141; 53. S. 100]. Смотр войска на Марсовом поле мог проводить только Николай I (в конце царствования Александра I такие смотры не проводились), в то время как Олешкевич явно обращается к старшему из братьев Романовых, говоря, что тот некогда «был чужд и злобе и гордыне, Но низко пал, тиранство возлюбя» [54. С. 284]. Поэта явно не интересовали российские монархи как исторические личности. Царь в «Отрывке» – это обобщенный образ, который призван воплотить особый тип человека, располагающего неограниченной властью.

Правда, в «Лекциях о славянских литературах» Мицкевич признает за Александром I славянские черты, якобы выделяющие его из всех Романовых: «Он имел высокую и стройную фигуру славянина, славянское лицо, это единственный русский царь с голубыми глазами» [55. S. 308], в то время как Петр I, по его словам, имел «угрюмое выражение лица, особенно взгляд, глаза серые, налитые кровью, характерные для рода Бурчукинов, правящего у монголов, указывают [...] на великоросса с монгольской примесью» [55. S. 95–96].

Александр I лишь эпизодически появляется в некоторых польских исторических романах — таких, как роман Яна Чиньского «Цесаревич Константин и Иоанна Грудзиньская, или Польские якобинцы» (1833), в котором его образ достаточно бледен. Образ Александра I в этом романе служит в основном тому, чтобы показать читателю определенный тип тирана — тирана скрытого, не столь явно проявляющего свои деспотические черты по сравнению с жестокими Николаем I и великим князем Константином Павловичем.

Выведен Александр I, в частности, в романе Вацлава Гонсеровского «Княгиня Лович» (1908). В нем образ императора очень схематичен. На страницах романа он не появляется, его присутствие, беседы с супругой великого князя Константина, Иоанной Грудзиньской, получившей титул княгини Лович, остаются за кадром. Общая характеристика, данная российскому императору Гонсеровским, сводится к повторению общеизвестных вещей. Писатель как бы не решается представить законченный художественный и исторический образ, подойти к нему вплотную и дать оценку. С одной стороны, он далек от создания образа деспота (эта роль отводится целиком великому князю Константину) или сознательного обманщика поляков и признает роль российского монарха как воссоздателя Польши, с другой — описание добродетелей Александра I не лишено иронии. Например, автор пишет: «Александр, когда кого-то наказывал, приговаривал к палкам или каторге, всегда вздыхал, всегда бывал опечален, что, впрочем, не способствовало тому,

чтобы он пожелал совсем отказаться от этих вздохов и расстройств» [56. S. 71]. С иронией описано экзальтированное поведение великосветских дам, надевших траурные браслеты в знак кончины императора, с иронией употребляется писателем повсеместное наименование победителя Наполеона «Ангелом мира». Единственная тема, которая интересует автора в связи с образом этой исторической фигуры, остающейся в его глазах загадочной, это Александр I и католицизм.

Таким образом, меняющийся образ Александра I отразил, с одной стороны, изменившееся со временем отношение к нему польского общества, а с другой – разную риторику жанров. Можно констатировать, что черты этого образа в XIX в. определялись особенностями польского национального и исторического сознания, важной для него антитезой «царь» — «король», противопоставляющей «чужую» самодержавную власть традиции польских королевских династий. Немаловажную роль сыграл специфический для польского исторического сознания образ России и русских, что заставляло либо противопоставлять Александра I России, либо сливать его с ней. Однако очевидно, что художественные трансформации образа Александра I — то, каким образом он запечатлен в польском художественном сознании, — послужили не обогащению образа этой выдающейся исторической личности, а его обеднению. Историческое сознание обнаружило тенденцию к схематизации и упрощению.

В подобном ключе следует рассматривать и польскую художественную литературу и историческую беллетристику XX в., в целом индифферентно относящуюся к фигуре Александра I. Равнодушен к этой исторической личности Марьян Брандыс. В его исторической пятилогии «Конец эпохи кавалеристов» (1972–1979) [57], посвященной судьбам героев наполеоновского времени, Александр I упоминается лишь мимоходом, как одна из фигур, составляющих фон жизни и деятельности поляков. Отношение автора к русскому царю на польском престоле проявляется лишь постоянно повторяемым закавыченным сочетанием «император и король» (так официально именовали российских монархов Александра I и Николая I в Королевстве Польском), что, видимо, должно свидетельствовать об ироническом отношении автора к сочетанию этих двух ипостасей. Умолчание, подобное нарочитому замалчиванию присутствия России и русских в жизни поляков в художественной литературе второй половины XIX в., тоже является характерной чертой продемонстрированного автором исторического сознания.

Больше внимания уделяет Александру I Станислав Цат-Мацкевич в сборнике исторических эссе «Был бал» (1961). Писатель проявляет желание глубже разобраться не только в польской истории, но и в русской. Всерьез, ссылаясь на мнения русских писателей, в том числе Д.С. Мережковского, рассуждает о непричастности Александра I к убийству своего отца, о схожести политического облика императора с обликом его бабки, Екатерины II, высказывая оригинальные суждения: «[...] он был, так же, как и Наполеон, целиком дитя XVIII века [...] Был похож этим на свою бабку, также приверженку философов». Но «насколько Екатерина II воплощала идеальный тип мужского начала в политике, в последовательности, даже в лицемерии, настолько Александр I представляет собой идеальный тип женственности. Он воплощал собой все те черты, которые мы правильно или ошибочно приписываем женщинам, а именно: менял мнение в зависимости от того, с кем он разговаривал, и всегда склонялся к выводам своего собеседника, не любил и не умел противоречить. Собственные мысли он скрывал, постоянно путал следы, постоянно словно бы страдал от нерешительности, и лишь с позиции прошедших нескольких лет становилось ясно, что он руководствовался своей собственной политикой, которую проводил целенаправленно. Он не терпел более сильных личностей, но в то же время считался с ними, льстил им и обманывал их» [58. S. 15]. Цат-Мацкевич рассуждает о различии Александра-республиканца, триумфально входившего в Париж в 1814 г., и Александра-мистика, попавшего под влияние баронессы де Крюденер. При этом писатель делает интересные выводы: «Александр I — это первая раскрытая страница русского мистицизма, который уже при жизни моего поколения обнаружится в поведении Николая II, в произведениях Мережковского» [58. S. 50].

Стремление в связи с фигурой Александра I глубже познать Россию и ее историю, отказавшись от устоявшейся сюжетной модели «Александр I и Польша», характерно и для польской литературы 90-х годов XX в. Владислав Терлецкий, в 1970 – начале 90-х годов приближавший в своем творчестве польскому читателю русские сюжеты, в историческом романе «Убей царя» (1992) пытается воссоздать атмосферу тайных заговоров, опутавших Россию летом 1825 г. накануне смерти императора в Таганроге. Развивая (в который раз в польской литературе!) тему цареубийства как идеи, витающей в воздухе, занимающей в 1825 г. как сотрудников секретных царских служб, так и вольнолюбивых революционеров, автор, безусловно, не свободен от стереотипов, предлагаемых польским историческим сознанием. Царь Александр I в романе – лишь тот, кто чувствует суровый приговор своих подданных и объят страхом смерти: «Царь с каждым годом, как говорят, все более погружается в глубокую печаль. Путешествие наверняка не умаляет этого чувства, но создает впечатление, что путешественник приближается к своему концу»[59. S. 144]. Эта единственная его характеристика вложена в уста и мысли героев романа, ибо на его страницах Александр I не появляется. Но идея его неминуемой гибели пронизывает весь роман, таким образом автор стремится передать атмосферу, якобы царившую во всей России в конце александровского царствования. В смерти царя заинтересованы консервативные круги, которые провоцируют заговор тайных обществ, чтобы их руками убрать неугодного правителя, заменив его Николаем I, «императором больших надежд», тем, «кого Европа будет бояться, а не поучать во имя своих интересов» [59. S. 164]. При этом для них «смерть Александра I имеет еще одно, высшее историческое измерение» – она должна быть сопряжена со снятием маски с заговора декабристов, который мог Россию повергнуть вскоре в революционный хаос [59, S. 76]. Идеей цареубийства озабочены и радикалы, рассматривающие его в ракурсе борьбы с тиранией. Рассуждения о нравственных основах тираноубийства вложены на страницах романа в уста А. Мицкевича, находящегося в ссылке в России. Другой же герой романа прямо заявляет, что в России «все кровавые трагедии будоражат общество, поскольку история навязала нам в прошлом иные законы, отличные от тех, по которым живут сегодня европейские народы» [59. S. 59].

Император Александр Павлович в романе Терлецкого и сам знает о грозящей ему опасности. Как продолжение пронизывающей весь роман идеи смерти царя у заговорщиков возникают планы его лже-кончины и скрытого от глаз общества перевоплощения в отшельника, кающегося в своих грехах. Так легенда о старце Федоре Кузьмиче соединяется в художественном сознании с цареубийственными планами некоторых представителей русского общества. Мнимая смерть Александра I становится их логическим завершением.

В связи с легендой о таинственном перевоплощении российского императора следует упомянуть еще одно сравнительно недавнее произведение польской художественной литературы — роман Анджея Шиманьского «Жар-птицы. Загадка тайного исчезновения царя Александра I» (1996) [60]. Он также свидетельствует об интересе современного польского писателя к личности Александра I уже в контексте русской истории. Как пишет сам А. Шиманьский в предисловии, «я решил испытать Россию». Автора интересуют попытки царя-аристократа вжиться в жизнь простого человека из народа, забыть о великосветских привычках, т.е. познать свой народ изнутри. За всем этим стоит попытка представителя современной польской литературы всерьез, отказавшись от стереотипов, проникнуть в историю России, что представляется нам наиболее перспективным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Łatka J.S. «Boże, coś Polskę...» Jego cesarsko-królewska mość Aleksander I. Kraków, 1997.
- 2. Słownik literatury polskiej XIX wieku. Wrocław, 1991.
- 3. Niewiara A. Moskwicin-Moskal-Rosjanin w dokumentach prywatnych. Łódź, 2006.
- 4. Golański F.N. Mowa w dzień doroczny rodzin Jego Imperatorskiej Mości Aleksandra I. Wilno, 1803.
- 5. Kołłątaj H. Korespondencja listowna z Tadeuszem Czackim wizytatorem nadzwyczajnym szkół, w guberniach wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej, przedsięwzięta w celu urządzenia instytutów naukowych i pomnożenia oświecenia publicznego w trzech rzeczonych guberniach / Z rękopisu wydał F. Kojsiewicz. Kraków, 1844. T. 3.
- Lewicki A.J. Mowa w dzień uroczystego obchodu koronacji Najjaśniejszego imperatora Aleksandra I przy rozpoczęciu rocznych nauk w Gymnazium Wileńskim. Wilno, 1807.
- 7. Śniadecki J. W dzień 15 września r. 1811 jako rocznicę koronacji Najjaśniejszego Imperatora Aleksandra I. Wilno, 1811.
- 8. *Prażmowski A.M.* Kazanie na uroczystość ogłoszenia Królestwa Polskiego i złożenia przysięgi wierności Najjaśniejszemu Aleksandrowi I, Imperatorowi Rossyi, Królowi polskiemu dnia 20 czerwca 1815 r. Miane w kościele katedralnym warszawskim. Warszawa, 1815.
- Ks. Jasiński. Kazanie o obowiązkach ku Najjaśniejszemu Imperatorowi Wszech Rosji, Królowi Polskiemu Aleksandrowi I w czasie uroczystego narodzin jego obchodu w Piotrkowie 1815. B.m., 1815.
- Molski M. Na obchód imienin najaśniejszego Aleksandra Pawłowicza, Imperatora Wszech Rossyi. B.m., 1814.
- 11. *Molski M.* Na pożądane przybycie Najaśniejszego Aleksandra I, Cesarza Wszech Rossyi, Króla Polskiego, do Warszawy, stolicy Królestwa 1815 r. 12 listopada, 31 października 1815. B.m., b.r.
- Gazeta Krakowska.
- 13. Gazeta Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego.
- 14. Najjaśniejszemu Aleksandrowi I cesarzowi Wszech Rosji królowi polskiemu ukochanemu ojcu narodu głuchoniemi Instytutu Warszawskiego. Warszawa, 1818.
- 15. Minasowicz J.D. Twory. Lipsk, 1844. T. 3.
- 16. Caroli (Karoli) T.J. Ad Aleksandrum Imperatorem totius Rossiae Regem Poloniae. B.m., 1816.
- 17. Wawrzykowska-Wierciochowa D., Podsiad A. «Boże, coś Polskę»: monografia historyczno-literacka i muzyczna. Warszawa, 1999.
- 18. Gazeta Warszawska.
- Pieśni wolnomularskie na obchód uroczysty narodzin Najjaśniejszego Cesarza i Króla Aleksandra I, przez Tadeusza Wolańskiego. Wrocław, 1817.
- Ks. St. Załęski. O masonii w Polsce. Od r. 1738 do 1822. Na źródłach wyłącznie masońskich. Kraków, 1908.
- Pusz W. Kongres Wiedeński i utworzenie Królestwa Polskiego. Z nieopublikowanych tekstów rodzimej poezji politycznej // Prace polonistyczne. 1980. Ser. 36.
- 22. Opis załobnego obchodu po wiekopomnej pamięci najjaśniejszym Aleksandrze I. Warszawa, 1829.
- 23. Myśli żałobne samotnego starca na zgon wiekopomnej pamięci Najjaśniejszego Aleksandra I cesarza wszech Rossyi i króla polskiego. Warszawa, 1826.
- 24. Diehl K. Kazanie na obchód żałobny po zgonie wiekopomnego Najjaśniejszego Cesarza Wszech Rossyi, Króla Polskiego Aleksandra I. Warszawa, 1826.
- Felczerowski K. Po zgonie wiekopomnej pamięci Aleksandra I [...] Wspomnienie Polaka. Warszawa, 1826.
- 26. Komar E. Na odgłos zgonu [...] Aleksandra I. Kraków, 1825.
- Kurzewski J.H. Wiersz na zgon wiekopomnej pamięci Najjaśniejszego Aleksandra I, Cesarza Wszech Rossyi. Kraków, 1826.
- Meyzner J. Elegia na zgon wiekopomnej pamięci Aleksandra I cesarza Wszech Rossyi, Króla polskiego. Warszawa, 1826.
- 29. F.Z. Elegia w czasie pogrzebu ułożona na zgon błogosławionej pamięci Aleksandra I, cesarza Wszech Rossyi, króla polskiego. Warszawa, 1826.
- Westchnienia czułego Polaka w dniu 13.06. r. 1826 jako w rocznicę oglądania po raz ostatni Wiecznej Pamięci Najjaśniejszego Aleksandra I, cesarza Wszech Rossyi, wskrzesiciela i króla Polski. Warszawa, 1826
- 31. *Jaskólski F.* Wiersz na zgon wiecznej pamięci najjaśniejszego Aleksandra I Cesarza Wszech Rossyi Króla Polski. Warszawa, 1826.
- 32. Bratkowski S. Na zgon wiekopomnej pamięci Aleksandra I. Warszawa, [1826].
- 33. *Woronicz J. P.* Kazanie podczas pogrzebowego obchodu po Aleksandrze I cesarzu wszech Rosji królu Polskim 17 kwietnia 1826 r. // *Woronicz J. P.* Pisma. Kraków, 1832. T. 6.
- 34. *Воронич Я.П.* Речь по случаю печального обряда в память императора Александра I // Вестник Европы. 1826. Т. 147. № 8.
- 35. *Солтык Р.* О памятнике императору Александру I, царю польскому // Вестник Европы. 1830. Т. 172. № 13.

- 36. Krasiński Z. Pisma. Wydanie jubileuszowe. Kraków, 1912. T.7. S. 9–17.
- 37. Fiećko J. Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu. Poznań, 2005.
- 38. Mochnacki M. Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831 / Oprac. St. Kieniewicz. Warszawa, 1984. T. 1.
- 39. Barzykowski St. Historia powstania listopadowego. Poznań, 1883. T. 1.
- 40. Hoffman K.B. Autor Wielkiego Tygodnia Polaków [pseud]. Rzut oka na stan polityczny Królestwa Polskiego pod panowaniem rosyjskim przez ciąg lat piętnastu 1815–1830. Warszawa, 1831.
- 41. Koźmian K. Pamietniki. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1972. T. 3.
- 42. Łukasiński W. Pamiętnik. Warszawa, 1986.
- 43. Kołaczkowski K. Wspomnienia. Ksiega 3. Od roku 1820 do 1830. Kraków, 1900.
- 44. *Шуазель-Гуфье С.* Исторические мемуары об императоре Александре и его дворе // Державный сфинкс. М., 1999.
- 45. Fiszerowa W. Dzieje moje własne i osób postronnych. Londyn, 1975.
- 46. Потоикая А. Мемуары, 1794–1820. М., 2005.
- 47. Bartoszewicz K. Utworzenie Królestwa Kongresowego. Kraków, 1916.
- 48. Ostrowski A. Żywot Tomasza Ostrowskiego, ministra Rzeczypospolitej, później prezesa Senatu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, oraz rys wypadków krajowych od 1763 r. do 1817. Paryż, 1840. T. 2.
- 49. Prądzyński I. Pamiętniki / Oprac. B. Gembarzewski. Kraków, 1909. T. 1.
- 50. Tokarz W. Sprzysiężenie Wysockiego i Noc Listopadowa. Kraków, 1925.
- 51. Koźmian A.E. Wspomnienia. Poznań, 1867. T. 1.
- 52. Stefanowska Z. Rosja w «Ustępie» III części «Dziadów» // W krainie pamiątek. Prace ofiarowane Profesorowi B. Zakrzewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Wrocław, 1996.
- 53. Zielińska M. Polacy. Rosjanie. Romantyzm. Warszawa, 1998.
- 54. Мицкевич А. Дзяды // Собр. соч. в 5-ти т. М., 1952. Т. 3.
- 55. Mickiewicz A. Dzieła. Warszawa, 1955. T. 10.
- 56. Gasiorowski W. Księżna Łowicka. Warszawa, 1960.
- 57. Brandys M. Koniec świata szwoleżerów. Warszawa, 1972. T. 1. Czcigodni weterani; Warszawa, 1972. T. 2. Niespokojne lata; Warszawa, 1974. T. 3. Rewolucja w Warszawie; Warszawa, 1976. T. 4. Zmęczeni bohaterowie; Warszawa, 1979. T. 5. Nieboska komedia.
- 58. Cat-Mackiewicz St. Był bal. Warszawa, 1973.
- 59. Terlecki W. Zabij cara. Warszawa, 1992.
- 60. Szymański A. Zar-ptaki. Zagadka tajemniczego znikniecia cara Aleksandra I. Warszawa, 1996.



© 2011 г. П. А. ИСКЕНДЕРОВ

ИСТОРИЯ КОСОВА: МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В статье анализируются историко-этнические аспекты проблемы Косова, основные концепции и подходы, существующие по данному вопросу в сербской и албанской литературе и политической практике. Особое внимание уделено динамике этноконфессиональной ситуации и попыткам преодоления сербо-албанских противоречий в Косове на основе интеграционных моделей.

The article is devoted to the inter-ethnic and historical aspects of the Kosovo problem. The author analyzes main concepts and approaches used in the Serbian as well as Albanian literature and politics. He also retraces the historical dynamics of ethnic-confessional situation in the Balkan area under examination. Special attention is paid to the integration models as a possible means to solve the Serbo-Albanian contradictions in Kosovo.

Ключевые слова: конфликтология, история Косова, Балканы, Сербия, Албания, межнациональные отношения, геополитика.

Переживающая в настоящее время новое обострение косовская проблема имеет глубокие корни. В ней как в капле воды отразились все противоречия Балканского полуострова — от исторической подвижности межгосударственных границ до перманентного вмешательства в дела региона и проживающих в нем народов великих держав. Одним из важных элементов проблемы Косова остается ее этнический аспект. Многие исследователи видят в непростой истории сербо-албанских взаимоотношений чуть ли не проявление пресловутого «столкновения цивилизаций», описанного С. Хантингтоном (см. [1]). История Косова и Метохии отмечена продолжавшимся на протяжении столетий «этническим соперничеством» сербов и албанцев — такую характеристику места Косовского края в системе сербо-албанских отношений дал однажды один из ведущих современных сербских историков Д. Батакович. На межэтнические противоречия как движущую силу конфликта вокруг тогдашней Старой Сербии (Косово по сербской терминологии XIX — начала XX в.) указывали в 1914 г. в своем докладе члены Международной комиссии по расследованию причин и хода балканских войн [2].

Насколько справедливы подобные утверждения? Представляется, что они – как и очень многое в истории – носят достаточно условный характер в силу, прежде всего, относительности применения этнических терминов и констатаций по отношению к одной из сторон косовского конфликта – албанцам Косова. Население Старой Сербии во времена османского ига подвергалось всевозможному насилию, разорению и исламизации, сочетавшемуся с выселением православных сер-

Искендеров Петр Ахмедович – канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН.

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках исследовательского проекта РГНФ («История Косова»), проект № 08-01-00495а.

бов и заменой его на мусульманское население — что явилось одним из решающих фактов формирования местной демографической картины. «Нигде на Балканском полуострове турецкое управление не было столь опустошительным, как здесь», — подчеркивал сербский исследователь Й. Цвийич [3. С. 69]. По данным сербских источников, в общей сложности в XVIII—XIX вв. из Старой Сербии в Королевство Сербия переселились около полумиллиона человек. Основной пик переселения пришелся на периоды после сербских восстаний 1804—1813 гг. и сербо-турецких войн 1876—1878 гг. Оставшиеся подвергались насильственной исламизации, в результате чего значительная часть косовских албанцев, по словам Цвийича, «имели сербское происхождение». Сербский исследователь относил к этногеографическому ареалу Старой Сербии не только Ново-Пазарский санджак, Косово-Поле, Метохию и некоторые области к югу от Шар-Планины, но и районы Северной и Центральной Албании, указывая, что Старая Сербия «выходит узким поясом на Адриатическое море около Скадара (Шкодер. — П.И.), Леша и, вероятно, Драча (Дуррес. — П.И.)» [4. С. 23].

Вокруг взглядов и оценок этого ведущего сербского ученого-историка, этнографа и географа начала XX в., ректора Белградского университета и основателя Географического института в Белграде, не стихают ожесточенные споры: ведь они в целом соответствовали подходам и вожделениями сербских правящих кругов и активно использовались последними для оправдания военно-политических акций во время балканских войн 1912—1913 гг. и непосредственно после их завершения (см. [5]). На территории Старой Сербии к началу Первой балканской войны имелось «значительное число сербов» — указывал Й. Цвийич. Учитывая отсутствие в Османской империи точной статистики сербского населения, он приводит следующие приблизительные данные: на 900 000 сербов, из которых до 300 000 человек исповедовали ислам (включая переселившихся в Санджак мусульман из Боснии), «арнауташей» (албанизированных сербов) было до 200 000 человек, а еще 300 000—400 000 являлись настоящими албанскими колонистами. Таким образом, «старое и очень старое албанское население» представляло собой меньшую часть (подробнее см. [3; 4]).

Говоря о проблеме этногенеза косовских албанцев в связи с албанским национальным движением конца XIX – начала XX в., следует иметь в виду, что исторической базой данного движения и в том числе основой для обеспечения необходимого преобладания албанского этноса над сербским во многом являлась как раз проходившая вплоть до конца XIX в. исламизация сербского населения в районах со смешанным сербо-албанским населением. Особенно активно данный процесс проходил в тех районах, где сербский элемент был разрозненным вследствие исхода славянского населения после поражений войск антитурецкой коалиции в 1690 и 1737 гг. Как отмечал Й. Цвийич, к середине XIX в. процесс омусульманивания православных сербов принял те же масштабы и тот же характер, который имели аналогичные процессы в отношении сербов-католиков районов Призрена и Джяковицы в XVII–XVIII вв. В то время о существовании албанской нации не решались всерьез говорить даже лидеры албанского национального движения, и статистика фиксировала принявших мусульманство сербов как турок. Но именно сербы-потурченцы в дальнейшем составили значительную часть албанского этноса, который заявил о своих правах в конце XIX в. Подобная ситуация дала Цвийичу возможность скептически рассуждать об «относительной ценности» этнографического принципа в сравнении с «историческим и национальным самосознанием» [6. С. 12–13].

С Цвийичем соглашались и некоторые российские эксперты и дипломаты – его современники, в том числе консул во Влере и делегат России в Международной контрольной комиссии в Албании А.М. Петряев, подчеркивавший, что «албанцев Старой Сербии и Македонии [...] в громадном большинстве случаев надо рас-

сматривать как потуреченных и албанизированных славян» (цит. по [7. С. 57]). Он же в своих донесениях неоднократно подтверждал рост влияния албанского фактора в Косове и в целом на Балканах и предупреждал об угрозе, которую он несет. «Албанский народ, – писал он в 1912 г., – никогда не игравший политической роли, под турецким господством приобретает такую силу, что выходит из своей области, расширяя свои границы, поглощает другую народность, за которую стоит славное историческое прошлое» [8. Политархив. Оп. 482. Д. 5296. Л. 52]. О переходе косовских сербов в мусульманство сообщал и один из ведущих российских специалистов в данном вопросе консул в Призрене И.С. Ястребов [8. Ф. Главный архив V—А2. Оп. 181. Д. 675. Л. 33]. В его донесениях присутствуют такие примечательные этнические категории, как «поарнаутившиеся (т.е. албанизировавшиеся. – П.И.) сербы и болгары» [7. Ф. Главный архив V—А2. Оп. 181. Д. 672. Л. 11].

Впрочем, точка зрения о сербских корнях значительной части албанского этноса оспаривалась рядом российских дипломатов еще в начале XX в. – в частности, консулом в Митровице Г. Тухолкой. Последний в обстоятельном донесении от 1915 г. указывал, что албанцы, по его мнению, «несомненно арийского происхождения. По-видимому они издавна жили в горах на западной стороне Балканского полуострова» (цит. по [7. С. 63]). Однако и этот автор признавал процесс албанизации сербов, указывая, что католики села Янево в Приштинской казе «по происхождению сербы и говорят только по-сербски, хотя католическое духовенство и старается их албанизировать с помощью церкви и школы» [7. С. 64]. В этой связи обоснованным представляет мнение одного из ведущих российских этнографовбалканистов Ю.В. Ивановой, указывавшей на объективную сложность проведения межэтнического размежевания в регионе в силу уникальности его многовековой истории. «Ясного представления об этнической принадлежности той или иной группы жителей не было в ту эпоху, – пишет исследовательница. – В османское время, то есть на протяжении почти пяти веков, правовое положение индивида определялось его конфессиональной принадлежностью – "турками" называли всех мусульман, за этим названием стояло многое: право землевладения, службы в армии (другие должны были платить особый налог), занятия определенными видами ремесла и торговли, возможность исполнять некоторые должности в управленческом аппарате и многое другое. Многие представители балканских народов принимали ислам под давлением этих порядков, стремясь избежать особенно тягостных налогов и т.п. Феодальные владетели сохраняли таким путем свои земельные владения и свои привилегии, вливаясь в слой османской верхушки» [9. С. 101–102]. Ситуация осложнялась все возраставшим вмешательством в дела региона великих держав, которые «брали на себя решение судеб балканских жителей, исходя из своих интересов и своих видов на этнографическую карту того времени» [9. С. 101].

В противоположность концепции об этническом родстве сербов и албанцев – с начала XX в. использовавшейся сербскими правящими кругами в качестве обоснования включения в состав Сербии не только Косова, но и районов Северной и Центральной Албании – оппозиционные властям сербские силы подчеркивали необходимость рассматривать албанцев в качестве самостоятельного народа, имеющего отдельную историю и собственные национально-государственные интересы и чаяния. В частности, этнические аспекты сербо-албанских взаимоотношений в Косове всесторонне рассматривались председателем Сербской социал-демократической партии (ССДП) Димитрие Туцовичем, занимавшим позиции, прямо противоположные взглядам Цвийича и других сторонников жесткой линии Сербии в албанском вопросе. В конце февраля 1913 г. он написал обширную статью под названием «Работа с албанцами», которая была опубликована в партийной газете «Радничке новине» в номерах от 28 февраля и 1 марта 1913 г. В ней автор преж-

де всего называет основные причины, по которым сербская социал-демократия выступала против похода сербской армии в Албанию: во-первых, это был завоевательный военный поход, против которого «должно восставать любое здоровое сознание», а во-вторых — нападение Сербии на Албанию будет иметь глубокие негативные последствия в будущем, ибо оно «роет бездну между двумя народами, которые в некоторых областях перемешаны очень сильно, вызывает вражду, которая будет очень дорого нам стоить» [10. Књ. 7. С. 72].

Основные положения статьи вошли затем в его наиболее значительную работу по албанской проблематике — книгу «Сербия и Албания», увидевшую свет в начале 1914 г. Лидер ССДП дает общую характеристику ситуации, сложившейся на Балканах, и на этой основе формулирует задачи сербской социал-демократии в албанском и, шире, в национальном вопросе. Он указывает, что «Балканский полуостров является мешаниной наций с переплетенными историческими воспоминаниями», вследствие чего взаимные территориальные претензии расположенных здесь государств находятся в непримиримых противоречиях друг с другом [10. Књ. 8. С. 104]. Исходя из этого, автор делает вывод о том, что данные вопросы могут быть успешно решены лишь путем создания нового объединения балканских народов. Необходимость объединения диктуется также потребностями достижения ими экономической самостоятельности. Кроме того, и само «национальное освобождение балканских народов невозможно без объединения всех Балкан в один общий союз» [10. Књ. 8. С. 105].

Говоря далее об отношениях Сербии и Албании, Туцович отмечает, что существуют объективные возможности и предпосылки их кардинального улучшения, начиная с близости сербского и албанского народов, совместного их участия в борьбе против османского господства и заканчивая существующими взаимными экономическими интересами (сербы заинтересованы в получении выхода к Адриатическому морю, а албанцы – в получении хлеба). Однако, с сожалением продолжает автор, «Сербия вошла в Албанию не как брат, а как завоеватель. Более того, она вошла не как политик, а как грубый солдат»; иными словами, «Сербия как неприятель вошла в Албанию и как неприятель вышла» [10. Књ. 8. С. 108– 109]. Это не могло не привести к появлению у албанского народа безграничной враждебности к сербам. Туцович называет этот факт первым итогом завоевательной политики сербского правительства (прикрывавшегося лицемерными рассуждениями о неспособности албанцев к самостоятельному национальному развитию). В качестве второго, еще более опасного, итога он выделяет укрепление в Албании позиций Австро-Венгрии и Италии, политика которых представляет собой постоянную и непосредственную угрозу для балканских народов. В заключение Туцович вновь повторяет свой основополагающий лозунг, ставший основой политики ССДП в национальном вопросе: «Политическое и экономическое объединение всех народов на Балканах, включая албанцев, на основе полной демократии и полного равенства» [10. Књ. 8. С. 110].

Д. Туцович считался в руководстве сербских социал-демократов главным знатоком албанской проблемы; именно ему принадлежит заслуга разработки программы партии по данному вопросу. Однако в трудах одного из его ближайших соратников Душана Поповича мы также находим важные материалы по албанской проблеме и, в частности, ее этническим аспектам.

16 октября 1913 г. в «Борбе» была опубликована статья Поповича «Опять фиаско», написанная в крайне жестких выражениях. «Не стоит особо удивляться, – утверждает автор, – грубым инстинктам нашей крестьянской массы, об образовании и цивилизации которой это государство никогда не заботилось; не следует точно так же поражаться и узкому и бедному политическому и духовному горизонту наших военных командиров, которые воспитаны таким образом, что хладнокровное, злодейское убийство десятков и сотен албанцев, их жен и их детей они

считают каким-то подвигом героев из трагедии; не нужно особенно возмущаться и по поводу нашего буржуазного общественного мнения, которое дает моральное разрешение на все эти зверства, которое, более того, вызывает аппетит к уничтожению албанцев и их семей, так как представители этого общественного мнения это те люди, которые не стеснялись того, чтобы журналистскими кампаниями и шантажом разорять семьи своих сограждан: не нужно всему этому особо удивляться, потому что лозунги такого понимания и такой политики выдвигают люди, стоящие на самой большой общественной и политической высоте в Сербии, и потому что хотя бы г. Стоян Протич (Balkanikus), представитель демократических идей и приверженец английского парламентаризма в Сербии (а также министр внутренних дел в правительстве Николы Пашича. – $\Pi.И.$), имеет смелость в форме объективного научного обсуждения доказывать перед всем миром, что албанцы не имеют права ни на национальную, ни на государственную самостоятельность, что они почти что полулюди, не имеющие права быть членами большой человеческой семьи, ссылаясь в качестве обоснования своих "научных" утверждений на каких-то европейских авантюристов и проходимцев, которые возненавидели Албанию вероятно за то, что не встретили в ней кафе-концерты и английские клозеты, или за то, что им не достался какой-нибудь гешефт!» [11. С. 283].

«Рассуждая таким образом и аргументируя таким образом, – пишет Попович, – господа буржуазные патриоты и не замечают, как дают пощечину и самой сербской нации. Черногорцы, несомненно, представляют собой часть сербского народа, по правде говоря, примитивную часть, но со столь ясными природными, характерными, типичными отличительными чертами нашей нации. Это нам не оспорят даже буржуазные патриоты; они чаще всего декламируют и поют с достоинством о том каменистом неприступном гнезде сербского народа, куда еще не проникло разлагающее влияние со стороны. А та часть сербского народа, между тем, находится в очень тесной не только географической но и этнографической связи с северными албанцами, и есть местные пояса, где черногорские племена перетекают в албанские, и наоборот, и где очень трудно провести границу между характерными особенностями этих двух наций. И теперь, если точной является позиция наших шовинистов о том, что албанцы богом или природой приговорены оставаться дикарями, и что они в принципе не имеют предпосылок для культуры и свободы – почему то же самое не относится и к той части сербского народа, которая так близка к албанцам и с хозяйственной, и с культурной, и с психологической точек зрения? И разве нам, напротив, это не доказывает, что албанцы, как когда-то и черногорцы, отстали в культурном отношении из-за того, что не имели [...] благоприятных исторических и социальных условий и что и они бы сильно шагнули вперед и догнали своих балканских братьев в том случае, если бы получили политическую свободу и организацию и если бы уничтожили самую худшую и самую тяжелую форму феодализма, которая их давит, душит» [11. C. 284].

Позицию сербских социал-демократов, категорически отвергавших расширительное распространение Сербией зоны своих геополитических интересов на албанонаселенные районы Балкан, отчасти разделяют и некоторые современные сербские авторы. Они признают эфемерность надежд на получение выхода к Адриатическому морю военным путем в международной ситуации начала XX в., хотя и не склонны сводить проблему к агрессивным устремлениям белградских военно-политических кругов.

В частности, один из ведущих специалистов в данной области Димитрие Богданович ссылается на сложное переплетение исторических, этнорелигиозных и геополитических факторов вокруг Косова. По его словам, «развитие албанского национализма после 1878 г., а особенно в первые годы XX века, вынуждало обратить внимание на то, что автономная Албания представляет собой в гораздо большей степени продукт европейской политики в решении Восточного вопро-

са – в рамках планов собственного проникновения на Балканы – нежели результат политики балканских народов. Поэтому автономная Албания должна была рассматриваться сербскими государственными деятелями в качестве потенциальной опасности». Подобное обстоятельство, по мнению Богдановича, лежало в основе намерения властей Белграда «охватить албанский народ каким-либо сербским государством». «История Средних веков наводила на мысль, что албанский народ можно интегрировать в рамках сербского государства, а историко-этнографические исследования оправдывали это весьма спорными тезисами о совместном происхождении или даже сербском этногенезе североалбанских племен» [12. С. 30]. Более категорично высказывался на тему сербо-албанских взаимоотношений и политики Сербии в албанском вопросе один из крупнейших югославских историков Васо Чубрилович. Еще в 1937 г. он писал, что «фундаментальной ошибкой» сербских правящих кругов конца XIX – начала XX в. стала попытка «решить все основные этнические проблемы на беспокойных и кровавых Балканах западными методами. Турция принесла на Балканы обычаи шариата, согласно которым победа в войне и оккупация страны жаловали победителю право распоряжаться жизнями и имуществом своих новых подданных. Даже балканские христиане научились у турок, что не только государственную власть и господство, но также и дома и собственность можно выиграть и потерять ударом меча» [13].

Исламизация сербов как один из важнейших элементов этногенеза косовских албанцев напрямую связана с ключевой этнической проблемой истории Косова – вопросом происхождения и идентичности албанского этноса. Складывавшаяся на протяжении многих столетий картина расселения народов на Балканах дала пищу для ожесточенных дискуссий между сторонниками иллирийских и фракийских корней албанского языка, а в более широком плане – между апологетами теории иллирийских автохтонных корней албанской нации и ее ожесточенными оппонентами. Споры эти подогревались тем обстоятельством, что, как справедливо отмечает Ю.В. Иванова, «определить соотношение элементов иллирийского и фракийского языков чрезвычайно трудно, главным образом из-за скудости документированных источников» [14. С. 30]. Ведущие албанские историки не сомневаются в прямых и глубоких иллирийских корнях албанцев – что позволяет считать данный этнос древнейшим автохтонным народом на Балканах. В частности, Э. Чабей в работе «Языковые исследования» настаивает на совпадении ареала формирования албанского языка и территории, современной расселению албанцев, а контакты населения побережья Южной Адриатики и римлян прослеживает еще до образования римской провинции Иллирик [15].

Однако оппоненты этой точки зрения – в частности Г. Вейганд, В. Георгиев, Л.А. Гиндин, О.С. Широков, И. Попович и Х. Барич – на основании близости раннеалбанского языка к фракийскому высказывают гипотезу, что предки албанцев проживали гораздо восточнее нынешнего албанского ареала. По мнению Широкова, ссылающегося на данные этимологии, фонетики и грамматики албанского языка, прародиной албанцев следует считать Карпаты – где их предки занимались отгонным скотоводством. Затем они вместе со славянами вышли к Дунаю (территориально восточнее Тисы), переправились через него, достигли Македонии и затем продвинулись далее на запад Балканского полуострова, где встретили местное романизованное население (в том числе на территории современной Далмации). Здесь уже произошло взаимообогащение их языков – и в результате мы сегодня имеем несомненную лексическую близость албанского и румынского языков. Кроме того, протоалбанцы обогатили свой язык через древние топонимы, присущие славянскому населению межгорных балканских котловин. В результате албанский язык, по мнению приверженцев данной теории, сформировался на основе румынских и народнолатинских диалектов, иллирийских наречий Далмации и древнеславянских языков (подробнее см. [16]).

Сторонником «горно-континентального» происхождения албанцев являлся один из ведущих германских ученых-этнографов Г. Штадтмюллер, считавший их предками пастухов-кочевников, изолированно обитавших в горной области Мат (современная Средняя Албания) и имевших лишь спорадические контакты с окружающим романизованным населением [17. S. 167].

Вышеуказанные теории хорошо объясняют тот факт, что впервые в письменных источниках собственно албанцы упоминаются лишь в XI в. – в контексте расположенной опять-таки в гористой области в центральной части современной Албании местности под названием «Арбанон» [17. S. 173].

Однако албанский исследователь А. Буда в сочинении «Исторические записки» объясняет данный факт тем, что «в документах времен Римской империи, а позже Византийской обычно упоминаются те народы, которые представляли опасность для политической власти». «Население бывшей Иллирии привлекло к себе внимание в XI в. в связи с его восстаниями и поэтому именно с той поры стало постоянно упоминаться в письменных документах. Но это не означает, что предки албанцев до того не жили на данной территории», – подчеркивает ученый, ссылаясь, в частности, на невозможность ассимиляции местного населения и его городской культуры «кочевниками-скотоводами». Впрочем, в данном случае речь могла идти не о классической ассимиляции, а лишь о восприятии местным автохтонным населением языка пришельцев [14. С. 31; 18]. Один из ведущих современных косовских исследователей А. Якупи высказывается еще более определенно, относя к «историческим албанским землям» как собственно Албанию, так и почти все территории бывшей Югославии. Он подчеркивает, что «албанцы – это именно те, кто базирует свою независимость и коренное этническое происхождение на историографии, доказанной применительно к античности и ко всем последующим периодам» [19. P. 47].

Не согласны с Широковым и его единомышленниками и ряд отечественных исследователей, в частности А.В. Десницкая, считающая иллирийское происхождение албанского языка «твердо доказанным». По ее мнению, в пользу этого говорит тот факт, что римский язык и культура не оказали на население албанских приморских областей такого влияния, как на народы, населявшие другие районы Балкан. Что же касается «славянского слоя» в албанской лексике, то Десницкая объясняет его наличие длительным периодом последующего сосуществования древних албанцев и пришлых славян. Схожей точки зрения придерживается и Ю.В. Иванова, считающая главными аргументами в пользу автохтонности албанцев археологические находки в местности Коман в долине реки Дрин. «Металлические украшения одежды очень похожи на те, которыми украшены современные традиционные костюмы албанцев. Они не идентичны ни римским, ни византийским формам. Отсюда напрашивается естественный вывод о преемственности, о переходе элементов иллирийской культуры непосредственно в культуру албанского этноса» [14. С. 26].

Одна из ведущих современных британских исследовательниц истории Албании М. Виккерс высказывается более осторожно. Она признает «иллирийское» прошлое ряда земель, населенных в настоящее время албанцами, но не считает подтвержденной гипотезу о прямом «перетекании» их элементов в албанскую культуру. По ее словам, «в целом признается, что к седьмому веку до нашей эры отдельные племена, разделяющие общий иллирийский язык и культуру, проживали на территории, известной сейчас как Албания», однако нельзя с аналогичной достоверностью утверждать, «являются ли они предками современных албанцев» [20. Р. 1].

Не менее определенно – но в прямо противоположном смысле – высказываются ведущие сербские исследователи. Они считают теорию иллирийских корней албанской нации не только не соответствующей истине, но и преследующей

конкретную политическую цель — идеологически обосновать сначала албанский ирредентизм, а затем и сепаратизм в Косове. Говоря словами сербского ученого С. Джаковича, «ирредента с оглушительной силой и огромным упорством встроила историческое прошлое, происхождение и "аутентичную" культуру в непрерывную идейно-политическую пропаганду» [21. С. 13].

В качестве своего главного аргумента противники теории об иллирийских корнях косовских албанцев ссылаются на отсутствие на территории современного Косова следов албанских памятников при одновременном изобилии сербских городов, церквей, монастырей и других исторических свидетельств материальной культуры, а также на отсутствие у албанцев вплоть до начала XX в. литературного языка. Все это, по их мнению, заставляет рассматривать представления об иллирийских корнях албанской нации культурной инициативой Австро-Венгрии. По словам одного из ведущих современных сербских историков С. Терзича, эта теория была создана в конце XIX в. «в кабинетах австрийских и германских ученых» и преобразована в более доходчивую форму для пропаганды среди албанцев. Албанцы были объявлены самым древним из современных народов Европы, сложившимся на основе дороманских иллирических элементов и племен пеласгов, имевших арийское происхождение. Именно древние корни албанцев, по мысли Вены и Берлина, давали им право ставить задачу объединения в одно государство всех земель, на которых они проживали до прихода на Балканы сербов и других славян – указывает Терзич. А целям окончательного оформления албанской языковой общности послужил проведенный в ноябре 1908 г. в македонском городе Битоли Всеалбанский конгресс, посвященный разработке и внедрению в Албании единого алфавита. Однако вопрос о создании и активном применении албанского литературного языка так и не был решен до начала Первой мировой войны. Достаточно упомянуть, что, несмотря на «лингвистические» решения Всеалбанского конгресса в Битоли, программные документы о провозглашении независимости Албании от Турции, принятые на Всеалбанском конгрессе во Влере 28 ноября 1912 г., – в том числе и сама декларация независимости – были подготовлены на турецком языке: делегаты, приехавшие из Косова и других районов Балкан, попросту не владели албанским. Созданное тогда же первое правительство независимой Албании было вынуждено писать свои распоряжения турецкими буквами: ни один из членов кабинета Исмаила Кемали не знал албанской латиницы. Существует в сербской историографии и своего рода «промежуточная» теория, признающая наличие у албанцев иллирийских корней, но в сильно опосредованном и частичном виде. Речь идет о том, что албанцы представляли собой новую этническую формацию, появившуюся в начале Средних веков в результате смешения различных элементов старых палеобалканских субстратов – иллирийских, дакийских (дарданских) и фракийских. Иными словами - они не являлись прямыми и непосредственными потомками иллиров или дарданов (подробнее см. [22]).

Многие исследователи высказывают серьезные сомнения в правомерности существования столь глубоких исторических корней албанского этноса в том числе по причине позднего возникновения албанского национального движения вкупе с отсутствием вплоть до начала XX в. единой албанской письменности и литературного языка. Эксперты Международной кризисной группы, уже в наши дни анализируя исторический процесс складывания албанского национального самосознания, вполне обоснованно отмечают, что «вплоть до конца девятнадцатого века среди албанцев не появилось широкого и в достаточной степени специфического чувства национальной идентичности», и какие-либо «ощущения "национального возрождения" среди албанцев явились относительно недавним историческим феноменом» [23. Р. 3].

Сербское руководство неизменно подчеркивало сербо-славянские корни ядра косовско-албанского этноса, видя в этом аргумент в пользу включения данных территорий в состав сербского королевства. Ведь обладание Старой Сербией исторически имело для Белграда не только морально-психологическое, но и важнейшее хозяйственное значение. По состоянию на 1910—1912 гг. — т.е. накануне балканских войн — население крупнейшего косовского города Призрен составляло 60 тыс. чел. и уступало в будущих границах Сербского королевства лишь столице Белграду с его 100-тысячным населением. Также в число крупнейших городов региона входили тогда 20-тысячная Приштина, Митровица и Вранье — оба города с населением в 12 тыс. чел.

Известно высказывание сербского премьера Николы Пашича, заявившего незадолго перед Первой мировой войной посланнику Австро-Венгрии в Белграде, что «Сербия направила взоры к Адриатическому морю, где для нее вовсе не чужие земли, а искони принадлежавшие Сербскому государству, населенные албанцами, которые по крови те же сербы и могут, конечно, рассчитывать на всемерную защиту Сербии» [8. Ф. Политархив. Оп. 482. Д. 529. Л. 75]. По мнению Пашича, в вопросе сербо-албанского разграничения и в целом определения границ Албании не следует говорить о каком-то столкновении принципов «исторического права» и «права народностей», так как речь идет о территориях, где проблемы попросту не могут быть решены на основе этнографических подходов «вследствие албанизации сербских племен». Подобным образом он оспаривал подход Австро-Венгрии, которая, по его словам, исходила из «искусственного этнографического принципа». У нас «отнимают земли и святыни Старой Сербии, чтобы передать тем, кто их до сих пор опустошал» [24. Књ. VI. С. 264]. Впрочем, не меньшее значение имели для Белграда в албанском вопросе и геополитические соображения – а именно стремление не допустить, чтобы Албания стала «австро-итальянской провинцией», поскольку это «означала бы для нее (Сербии. – $\Pi. H.$) не только окончательное исключение с Адриатики, но и постоянную опасность на ее югозападной границе» [25. C. 31].

Аргументы Пашича не произвели особого впечатления на Вену, заинтересованную в расширении пределов создававшейся тогда Албании и посчитавшуюся в конечном итоге не с сербскими меморандумами, а с жесткой позицией России (подробнее см. [26]).

Однако международная комиссия по определению северной и северо-восточной границы этой страны непосредственно столкнулась с проблемой определения этнографической принадлежности городов, деревень и местечек. Эта комиссия стала ареной ожесточенных дискуссий, в которых российскому и французскому делегатам, в целом отстаивавшим позиции Сербии, противостояли не только дипломаты держав Тройственного союза (Германии, Австро-Венгрии и Италии), но и зачастую представитель Англии. В Великобритании начала XX в. были весьма сильны проалбанские настроения, подпитывавшиеся в том числе трудами известной британской путешественницы и исследовательницы Эдит Дурхэм. Она неоднократно в рассматриваемый период посещала Албанию и не сомневалась в иллирийских корнях албанского этноса: «Албанцы являются потомками племен иллирийцев и эпиротов, которые в доисторические времена проживали вдоль западной части Балканского полуострова – до прихода и римлян, и славян. При этом они не являлись и не являются греками» [27. Р. 163].

Трудами Э. Дурхэм активно пользовался еще один влиятельный сторонник расширительного толкования исторических корней и ареала обитания албанцев — депутат британского парламента от партии консерваторов Обри Герберт — дипломат, путешественник, офицер разведки и горячий сторонник идеи независимости Албании, состоявший с госпожой Дурхэм в активной переписке. Он посещал албанские земли в 1907, 1911 и 1913 гг. и с радостью согласился исполнять роль

советника албанской делегации, прибывшей в Лондон на Совещание послов великих держав $1912-1913~\text{гг.}^1$

С проблемой этнических характеристик населения Косова столкнулись и члены международной делегации, отправившейся на Балканы для расследования многочисленных сообщений о нарушениях правил и норм ведения войн 1912—1913 гг. В своем итоговом докладе они констатировали наличие в регионе таких этнических групп, как «сербы», «сербы, говорящие по-албански» и «албанцы» [2. Р. 3].

В начале марта 1913 г. российский МИД получил из посольства Сербии в России примечательное послание, в котором вопрос о сербских корнях албанцев Старой Сербии был поставлен в прямую связь с проблемой сербо-албанского территориального разграничения. В документе, написанном по-русски, говорилось, что (орфография оригинала сохранена. – $\Pi.И.$) «из известий некоторых посланников выходит, что не все довольно ясно и решительно сообщили решение правительства (Сербии. $-\Pi.И$.): что мы не покинем Долину Дебарскую, Джаково $(Джяковица. - \Pi.И.)$ и Ипек (Печ. $-\Pi.И.$) с долиной Белого Дрима (Дрина. $-\Pi.И.$), не смотря какое будет решение великих держав. Из этих краев может прогнать сербскую армию только более сильная армия. Эти края соединены неразделимо со Старой Сербией и разделены с Албанией высокими горами которые представляют географическую и экономическо-коммуникационную границу между Старой Сербией и Албанией. Арнауты в этих краях по происхождению сербы и теперь еще говорят по-сербски и не имеют никакой связи с приморскими арнаутами. Ипек, Джаково и Призрен лежат в колыбели Старой Сербии и полны монастырей, церквей, школ и святынь сербских» [8. Ф. Политархив. Оп. 482. Д. 2087. Л. 210–261].

Таким образом, аргумент сербского происхождения косовско-албанского этноса выступал для Белграда важным средством ведения дискуссий с представителями великих держав относительно государственной принадлежности спорных территорий.

Не менее активно использовал этнические факторы в своей национально-государственной аргументации черногорский король Никола Петрович Негош, мечтавший о увеличении численности подданных короны за счет племен Северной Албании, которых он считал родственными черногорцам еще со времен Скандербега и Бранковича. «Арнауты (албанцы. — П.И.), теснимые младотурками, страшась введения всеобщей воинской повинности, охотно войдут, на известных условиях, в состав Черногории, население которой сохранило однородное с албанцами племенное устройство и поныне пользуется правом носить оружие», — так характеризовал планы Цетинье в своих донесениях в Санкт-Петербург российский поверенный в делах в Черногории Н.С. Дьяченко и продолжал: «Кроме того, немалые надежды возлагаются на родственные связи, сохранившиеся, будто бы, до сих пор между отдельными арнаутскими кланами и черногорскими племенами. Щедрая раздача оружия и денег должны довершить успех широкого плана» [8. Ф. Политархив. Оп. 482. Д. 2082. Л. 52].

Стремление включить албанонаселенные районы Балкан в состав Черногории красной нитью проходило через все царствование Николы Негоша. Об этом еще в июне 1900 г. сообщал министр-резидент российской дипломатической миссии в Цетинье К.А. Губастов. В адресованной тогдашнему министру иностранных дел России М.Н. Муравьеву служебной записке он указывал, что «Черногория, несмотря на скудость своих доходов, содержит 11 школ в Албании и в Старой Сербии, тратя на них 3500 гульденов ежегодно» [28. С. 42].

¹ Обри Герберт пользовался настолько большим авторитетом среди албанцев, что они даже предложили ему стать монархом Албании. Британский парламентарий с интересом отнесся к предложению, однако в итоге был вынужден отказаться от заманчивой перспективы под давлением друга своей семьи – тогдашнего главы британского кабинета Герберта Эсквита.



«Князь Николай, – писал Губастов – полагает, что его дом имеет больше прав считать себя преемником Неманей, чем Обреновичи, и потому города Призрен, Ипек (Печ. $-\Pi$.U.) и Дьяково (Джяковица. $-\Pi$.U.), игравшие когда-то значительную роль в сербской истории, должны достаться Петровичам. Он высказывает эти претензии в поэтических своих произведениях и заявил также королю Александру в одной из интимных с ним бесед в Цетинье в 1897 г., в котором они намеревались наметить будуший раздел Старой Сербии» [28. C. 46].

В конце феврале 1911 г. – когда на Балканах готовилось новое албанское восстание – черногорский правитель прямо поинтересовался у сербского правительства: «Возьмут ли Сербия и Черногория албанское движение в свои руки, будут ли им руководить и вступят ли в подходящий момент в игру?» Однако в Белграде предпочли уклониться от прямого ответа. Аналогичной была реакция сербских властей и весной 1912 г. – когда военные и дипломаты сообщали тогдашнему председателю совета министров и министру иностранных дел М. Миловановичу о том, что «король Никола ведет переговоры с албанцами» [24. Књ V. С. 515]. В результате в разгар Первой балканской войны албанцы в целом выступили на стороне Турции, а вопрос определения судьбы албанцев окончательно уплыл из рук сербов и черногорцев [29. С. 79–81].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003.
- 2. Report of the International Commission to Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars. Washington, 1914.
- 3. *Цвијић Ј.* Балкански рат и Србија. Београд, 1912.
- 4. Цвијић J. Балканско полуострво и јужнословенске земље. Основи антропогеографије. Београд,
- 5. Токарев С.А. Профессор Й. Цвийич // Славянский архив. М., 1962.
- 6. Цвијић J. Географски и културни положај Србије // Гласник Српског географског друштва. 1914. № 3. CB. 3–4.
- 7. Албанский фактор в развитии кризиса на территории бывшей Югославии. Документы. М., 2006. Том первый (1878–1997 гг.).
- 8. Архив внешней политики Российской империи.
- 9. Иванова Ю.В. Формирование идеи собственного государства в Албании // Человек на Балканах. Государство и его институты: гримасы политической модернизации (последняя четверть XIX – начало XX в.). СПб., 2006.
- 10. Туцовић Д. Сабрана дела. Београд, 1980.
- 11. Поповић Д. Сабрана дела. Београд, 1985. Књига друга.
- 12. Богдановић Д. Књига о Косову. Београд, 1990.
- 13. Iseljavanje Arnauta. Beograd. 7. март 1937 године. Arhiv bivše Jugoslovenske Vojske. № 2. Ф. 4. Кут. 69. Л. 19.
- 14. Краткая история Албании. М., 1992.
- 15. *Cabej* E. Studime gjuhësore. Prishtinë, 1976. Vëll.1–3.
- 16. Широков О.С. Введение в балканистику. М., 1990.
- 17. Studtmuller G. Forschungen zur albanische fruhgeschichte, zweite erweiterte auflage, Albanische Forschungen 2. Wiesbaden, 1966. 18. *Buda A*. Shkrime historike. Tiranë, 1986. Vëll. 1–2.
- 19. Jakupi A. Two Albanian States and National Unification. Prishtina, 2004.
- 20. Vickers M. The Albanians. A Modern Hostory. London; New York, 1995.
- 21. Ђаковић С. Сукоби на Косову. Београд, 1986.
- 22. Terzić S. Kosovo and Metohija in the Serbian History. Belgrade, 1999.
- 23. Pan-Albanianism: How Big a Threat to Balkan Stability? Tirana; Brussels, 2004.
- 24. Документи о спољној политици Краљевине Србије. 1903-1914. Београд, 1984. Књ V. Св. 1; Књ VI. Св. 1.
- 25. Екмечић М. Ратни циљеви Србије 1914. Београд, 1973.
- 26. Искендеров П.А. Албанский вопрос: от войн Балканских к Первой мировой войне // Славяноведение. 2006. № 1.
- 27. Durham E. Albania and the Albanians: Selected Articles and Letters, 1903–1944. London, 2001.
- 28. Славяноведение. 1997. № 5.
- 29. Први Балкански рат. Београд, 1959.



© 2011 г. И. Ф. МАКАРОВА

К ВОПРОСУ О ЦЕЛЯХ БОЛГАРСКОГО ЦЕРКОВНОГО ДВИЖЕНИЯ (после 1856 года)

Статья посвящена проблемам болгарского церковного движения в XIX в. В центре внимания вопросы мотивации этого движения и его конфессиональной интеграции в османское общество.

The article is devoted to the problems of Bulgarian's church movement in the 19th century. It focuses on the issue of causes of this movement and its confessional integration into the Ottoman society.

Ключевые слова: болгары, церковное движение, Османская империя, миллет.

В обширной историографии, посвященной болгаро-греческому церковному конфликту, давно и прочно утвердилось мнеыние, что в основе его лежал протест болгар против засилья греческого духовенства, чрезмерных поборов и политики денационализации, проводимой Константинопольской патриархией по отношению к славянской пастве¹. При такой установке, исследователи, определяя цели болгарского движения, обычно называют, прежде всего, громко декларируемые современниками требования: желание иметь архиереев своей народности, свободно использовать славянский язык в богослужении, право открывать народные училища, издавать литературу на родном языке, иметь собственный приход в столице и т.д. На этом фоне претензии на создание самостоятельной болгарской церкви, громко зазвучавшие после окончания Крымской войны, выглядят с позиций современной ментальности абсолютно естественно, однако тактика борьбы болгар на этом поприще не всегда понятна даже профессиональным историкам².

Инициативы, связанные с различными дипломатическими миссиями, так или иначе вовлеченными в конфликт, вопросов не вызывают. Иностранные дипломаты отстаивали на Балканах интересы своих стран, поэтому, пытаясь направлять ситуацию в желательное для себя русло, руководствовались вполне очевидными для современных исследователей политическими, конфессиональными или экономическими соображениями. Гораздо труднее понять порой позицию представителей болгарских общин и особенно их радикального националистического или, как его еще называют в историографии, туркофильского крыла.

Как показало недавнее исследование Ил. Тодева, в переговорном процессе с Константинопольской патриархией именно это крыло проявляло наибольшую ак-

² На это обстоятельство обратила, в частности, внимание Р.П. Гришина [2. С. 225].



Макарова Ирина Феликсовна – канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН.

¹ Подробную библиографию по истории болгарского церковного движения, включающую новейшие исследования, см. [1. С. 506–534].

тивность, пользовалось авторитетом в среде соотечественников и оказывало решающее влияние на позицию болгарской стороны в целом [3. Т. 1. С. 183]. Однако логика действий болгарских активистов далеко не всегда укладывается в привычные для европейцев стереотипы восприятия ситуации. Среди наиболее сложных (с точки зрения мотиваций) можно выделить следующие инциденты: организацию двух скандальных акций — Пасхальной и Богоявленской (1860 и 1872 гг.), ликование по поводу отлучения от церкви болгарских владык в 1861 г. и антиканонических проектов Порты в 1868 г., ситуацию вокруг объявления схизмы (1872).

Между тем деятели Болгарского представительства в Стамбуле, и в первую очередь их неформальный лидер, делегат от болгарских общин Пловдива и Софии доктор Ст. Чомаков, своих целей не скрывали. Проблема состояла в другом — их видение проблемы не всегда совпадало с видением европейцев. Иностранцы, в том числе и русские дипломаты, изначально были склонны смотреть на болгарогреческое противостояние как на проблему, выходящую за рамки внутрицерковной распри и имеющую очевидный политический аспект³. Ментальность представителей болгарского народа была продуктом качественно иной цивилизации. Сформированная в недрах традиционного османского общества, а точнее, в рамках многовекового функционирования системы миллетов⁴, она естественным образом оперировала иными категориями.

Многочисленные статьи и документы, принадлежащие перу Ст. Чомакова, дают основания предполагать, что основной целью болгарской буржуазии было не столько отстаивание принципа народных владык или сохранения славянского языка, сколько создание в рамках системы миллетов новой болгароориентированной структуры. В условиях османских реалий многочисленные публичные заявления Ст. Чомакова о желании болгар добиться равного положения «с греками, армянами, израильтянами» и подобно им получить возможность напрямую обращаться к правительству и султану [1. Т. 2. С. 411, 120, 375–377, 393] звучали как заявка на создание отдельного от греков болгаро-православного миллета (равного по статусу греко-православному, армяно-григорианскому и иудейскому). Для соотечественников Ст. Чомакова было очевидно, что удовлетворение этой заявки означает выход болгарской паствы из состава Константинопольской патриархии, устранение посредников в лице греческого духовенства из схемы контактов между болгарами и османскими чиновниками всех уровней, появление возможности для формирования нового слоя болгарской элиты и, наконец, официальное признание болгар в качестве самостоятельного субъекта в системе османских правовых отношений, т.е. нации (по-турецки «миллета»).

Для понимания целей церковного движения важно также иметь в виду, что в Османской империи все миллеты (начиная с XV–XVI вв.) формировались исключительно по экстерриториальному принципу, т.е. включали в свою юрисдикцию всех без исключения представителей соответствующей конфессиональной или этноконфессиональной группы. Поэтому реализация идеи болгаро-православного миллета автоматически влекла за собой возникновение в рамках Османской империи новой экстерриториальной церковно-административной и конфессиональноюридической автономии. И, наконец, еще один штрих, способный во многом объяснить особенность тактики, выбранной болгарскими представителями на данном этапе церковного движения. Поскольку прерогатива учреждения нового миллета относилась исключительно к компетенции Порты, для достижения практического результата договариваться необходимо было именно с ней.

³ Исключительно наглядно эта позиция проявилась в «Дипломатических записках» российского посла Н.П. Игнатьева [3. Т. 1. С. 438–452; Т. 2. С. 611–643].

⁴ Подробно об этой системе конфессионально-юридической и церковно-административной автономии см. [4].

Постулирование тезиса о приоритете в ходе церковного движения 1856—1872 гг. идеи борьбы именно за создание нового миллета представляется исключительно продуктивным. Попытка выявить влияние османской матрицы⁵ на логику действия болгарской стороны позволяет четко и последовательно простроить внешне крайне противоречивую цепочку событий тех лет, расставить некоторые дополнительные акценты в перипетиях болгаро-греческого конфликта и снять элементы недоумения, невольно возникающие в связи с упомянутыми выше инцидентами.

Если взглянуть на это движение под данным углом, поведение активистов движения неожиданно легко вписывается в исторический контекст, связанный с мероприятиями, заявленными или проводимыми Портой в рамках курса реформ эпохи Танзимата. Достаточно напомнить, что начало обострения вялотекущего конфликта с Константинопольской патриархией было напрямую связано с обнародованием в феврале 1856 г. знаменитого султанского указа Хатт-и хумайуна. Его третий параграф прямо обещал реформу системы миллетов. В тексте документа говорилось, что «всем христианским и другим немусульманским религиозным общинам будет разрешено [...] с содействием составленной в ее среде комиссии приступить [...] под наблюдением Высокой порты к изучению ее [...] привилегий с тем, чтобы обсудить и предложить Высокой порте реформы, которые обуславливаются прогрессом просвещения и временем» [6. Т. 1. Ч. 1. С. 234].

Для болгарского социума эта реформа была в середине XIX в. назревшей необходимостью. Рост экспортной торговли продуктами сельскохозяйственного производства, резко увеличившийся после заключения османским правительством фритрейдерских договоров 1838-1841 гг., а также последовавшего вскоре в Европе неурожая (1846–1847), способствовал укреплению экономических позиций болгарской буржуазии. Однако система функционирования православного миллета во главе с греческим патриархом, синодом и митрополитами, представлявших перед султаном, правительством и губернаторами всю палитру интересов своей паствы (в том числе и экономических), фактически блокировала возможность прямого контакта болгар с органами власти. В условиях развития буржуазных отношений эта схема не только не соответствовала амбициям социально-экономической верхушки болгарского общества (чорбаджиев), но и мешала лоббированию интересов национального бизнеса. Этим обстоятельством в значительной степени можно объяснить чрезвычайно высокую степень активности именно руководящего звена общин на данной стадии развития конфликта, что было заметно даже для сторонних наблюдателей – русских консулов, вынужденных констатировать необычно высокую степень заинтересованности чорбаджиев в продвижении церковного вопроса [6. Т. 3. С. 255].

В отличие от первого этапа церковного конфликта (первая половина – середина 40-х годов XIX в.), в значительной степени искусственно раздуваемого польскими политическими эмиссарами (подробнее см. [7]), начавшееся после Крымской войны обострение не инспирировалось, по всей видимости, извне. Кроме самих болгар в разрыве с Константинопольской патриархией во второй половине 1850-х годов не был заинтересован, пожалуй, никто. Ни Порта, ни ведущие западноевропейские державы (Франция, Великобритания, Австрия) не были склонны поддерживать инициативы по созданию новой православной церкви, вполне обоснованно предполагая, что та быстро может оказаться под контролем единоверной России [8. С. 172–173; 9].

Русские дипломаты, признавая в своей внутриведомственной переписке справедливость болгарских претензий к грекам, продолжали вплоть до последней фазы развития событий вокруг о. Крит в 1868–1869 гг. придерживаться позиции нейтралитета и действовать исключительно «в духе примирительном». Директивы о необходимости следовать этой линии консулы получали во второй полови-

⁵ Подробно о влиянии османской матрицы на болгарский социум см. [5].



не 50-х — середине 60-х годов XIX в. достаточно регулярно. Например, в апреле 1858 г. министр иностранных дел А.М. Горчаков подчеркивал в послании в Адрианополь особую важность миротворческой тактики, отмечая, что именно забота о сохранении единства православных народов составляет «главнейший предмет забот нашего правительства. Существующая же вражда между народностью греческой и славянской послужат вернейшим средством к успеху католической пропаганды» [6. Т. 1. Ч. 1. С. 202].

Приоритет установок подобного рода в значительной степени был связан с позицией русского Св. Синода. Российским дипломатам в Стамбуле не раз приходилось оправдываться перед духовными властями за свои инициативы, проявляемые ради урегулирования церковного конфликта. Например, в весной 1861 г. суровые нарекания вызвала попытка князя А.В. Лобанова-Ростовского обсудить ситуацию, сложившуюся после Пасхальной акции, с представителями дипломатических миссий Великобритании и Франции [6. Т. 1. Ч. 2. С. 99–101]. В вину ему была поставлена главным образом конфессиональная (неправославная) принадлежность западных дипломатов, а на будущее дано указание обсуждать подобные вопросы «непосредственно и исключительно с патриархом» [6. Т. 1. Ч. 2. С. 115]. Секретарь российской дипломатической миссии Е.П. Новиков откровенно жаловался директору Азиатского департамента МИДа Е.П. Ковалевскому: «Поставленные между здравым, вполне православным политическим воззрением министерства и строгою безвыходностью мнений нашего духовного начальства, мы теряем всякую свободу суждения и действия [...] Два совершенно противоположных и равнообязательных для нас воззрения господствуют в высших слоях нашего собственного отечества» [6. Т. 1. Ч. 1. С. 388–389]. На докладе сохранилась помета императора Александра II – «Нахожу взгляд его совершенно правильным», но практических последствий это мнение государя в начале 1860-х годов не имело.

На протяжении всего конфликта позиция русского Синода отличалась завидным постоянством. Политика этого органа была направлена главным образом на то, чтобы потушить конфликт, избежав при этом обвинений в непрошенном вмешательстве во внутренние дела посторонней церковной организации [6. Т. 2. С. 174. Т. 3. С. 440]. В целом создается впечатление, что более всего он был озабочен опасностью возникновения осложнений по линии межцерковных отношений — между Русской православной церковью и Константинопольской патриархией. Свои сугубо личные рекомендации для ознакомления с ними патриарха осмеливался в исключительных случаях передавать через дипломатов лишь признанный авторитет в сфере канонического права митрополит Московский и Коломенский Филарет. Однако с его смертью в 1867 г. и эта практика заглохла.

На фоне подобной маловразумительной позиции России обнародование Хатт-и хумайуна можно считать для активистов болгарского церковного движения подарком судьбы. Реакция была мгновенной. Практически сразу болгарская община Стамбула подала на имя султана петицию, реализация некоторых положений которой (а именно, независимый от патриарха выбор собственного духовного и одновременно, как это было принято в миллетах, светского главы; возможность его прямого контакта с османскими властями) означала бы фактическое создание основ новой церковно-административной структуры. В конце 1856 г. она же отправила обращение в болгарские епархии, призывающее руководство местных общин прислать своих представителей в столицу для передачи Порте аналогичного документа, но уже от имени всего народа (оформленного по всем правилам, т.е. удостоверенного общинными печатями). В начале 1857 г. с этой целью в Стамбул прибыли уполномоченные Тырнова, Свищова, Казанлыка, Старой Загоры, Рущука, Шумлы, Сливена, Врацы и Пловдива, торжественно преподнеся Порте около 60 прошений.

⁶ Фактология конфликта излагается по классическому труду П. Никова [10].

Кроме Хатт-и хумайуна в притязаниях на создание новой церковной структуры болгары опирались и на недавний прецедент. В 1850 г. по настоянию английского посланника Стрэтфорда Каннинга немногочисленные протестанты Османской империи впервые были признаны Портой в качестве особого миллета. Аналогичный официальный статус имели армяне-католики и греки-униаты.

Очередной скандал в рамках болгаро-греческого конфликта, разразившийся в начале 1860 г. в ходе заседаний созванного Портой православного Народно-церковного собора, привел к стремительному усилению позиций болгарских радикалов. В марте 1860 г. болгарская община Стамбула подала Порте новое прошение, в котором, указывая на пристрастную и несправедливую позицию константинопольского синода и патриарха, просила об учреждении отдельной от греков церковной организации. Практическим шагом в этом направлении и стала скандально знаменитая Пасхальная акция. З апреля 1860 г. во время торжественной литургии в болгарской церкви Стамбула епископ Илларион Макариопольский скорректировал некоторые детали текста службы в соответствии с каноном, предусмотренным лишь для независимых церквей. Уже на следующий день Порте было передано официальное прошение об учреждении самостоятельной болгарской иерархии. Возмущенная патриархия потребовала от Порты немедленного заточения Иллариона, но получила отказ.

Двусмысленная позиция правительства создала в провинции почву для возникновения иллюзий о законном статусе самопровозглашенной церкви (ее формальное признание выглядело лишь вопросом ближайшего времени). Итог оказался самый неожиданный — начался переход владык на сторону новой церковной структуры. Софийский митрополит грек Гедеон во время службы на Петров день не упомянул имени патриарха, а произнес здравицу Иллариону (за что и подвергся немедленному заточению); велесский митрополит Авксентий (имевший конфликт с патриархией) осмелился отслужить литургию на Пятидесятницу в болгарской церкви Стамбула без патриаршего разрешения; присоединился к новой церкви и пловдивский митрополит албанец Паисий.

В историографии большой популярностью пользуется тезис, что непоследовательность Порты в церковном конфликте определялась ее приверженностью формуле «разделяй и властвуй», а также стремлением к подрыву авторитета России в среде православных народов Востока. Этого взгляда придерживались и русские дипломаты (см., например [8. С. 206–207]. Признавая обоснованность этой точки зрения, нельзя, впрочем, исключать и более простого объяснения. Налицо была элементарная растерянность властей перед угрозой разрастания социального конфликта в пограничных епархиях. Как отмечал русский консул в Тырново В.Ф. Кожевников, «призванное быть судьей и миротворцем в вопросе чисто христианском, турецкое правительство колеблется и не знает, в чью пользу решить дело. Если политика его не допускает обидеть греков, то опасно также раздражить и болгар. А между тем тяжелый вопрос этот столь сложен, что нет никакой возможности удовлетворить и тех и других» [6. Т. 2. С. 22]. Не исключено, что это замечание исключительно точно отражает сущность проблемы. Если учесть степень материальных и людских потерь Турции в ходе Крымской войны, дестабилизацию системы управления в процессе бесконечных реформаторских экспериментов эпохи Танзимата, а также сохраняющуюся угрозу территориального распада страны, то крайняя незаинтересованность Порты в нарушении социальной стабильности становится очевидной.

Летом 1860 г. свою лепту в обострение ситуации внес международный фактор. Разразившийся в это время Ливанский кризис спровоцировал резкий всплеск интереса великих держав к событиям внутри Османской империи. Этим обстоятельством попыталась воспользоваться группа радикально настроенной болгарской молодежи во главе с Др. Цанковым, взявшей курс на полный разрыв с Константи-

2 Славяноведение, № 1



нопольской патриархией и учреждение самостоятельной, но теперь уже болгароуниатской церкви. По информации русских консулов, в провинции во главе униатского движения стояли в основном радикально настроенные молодые учителя, полагавшие этот путь наиболее перспективным для учреждения новой болгарской церкви [6. Т. 1. Ч. 2. С. 273, 320–321].

18 декабря 1860 г. сторонники унии вручили католическому архиепископу П. Брунони официальное ходатайство на имя Папы Римского о признании автономной болгарской церкви (с сохранением традиционных обрядов и обычаев). Порта незамедлительно объявила, что готова признать новую церковную структуру, а по возвращении из Рима глава болгаро-униатской церкви архиепископ Иосиф Сокольский получил от османских властей право использовать печать со столь желанной гравировкой — «булгар миллети» (или «Соединенная болгарская патриархия») [6. Т. 1. Ч. 1. С. 10; 11. С. 182].

На тот момент униатство болгар было, пожалуй, для Порты оптимальным вариантом решения проблемы. В рамках логики системы миллетов (люди одного вероисповедания должны подчиняться одному церковному главе) добровольный и официально оформленный отказ от православия являлся для правительства легитимным основанием для удовлетворения всех требований болгар без формального ущемления привилегий Константинопольской патриархии. Позицию Порты по данному вопросу исчерпывающе объяснил в своем частном разговоре с французским вице-консулом в Адрианополе Ш. Шампоазо Киприсли-паша (занимавший в 1860 г. пост великого визиря) [11. С. 315]. В частности, он отметил, что Порта не может согласиться на учреждение самостоятельной православной болгарской патриархии хотя бы по той причине, что та, скорее всего, не замедлит оказаться под враждебным влиянием России. Поэтому в идеале правительство предпочло бы, чтобы болгары и впредь оставались под юрисдикцией уже существующей патриархии, причем, безразлично какой именно - греческой, армянской, грекоуниатской или даже иудейской. Но поскольку они желают устроения вне этих церковных структур, для Порты предпочтительнее юрисдикция папы, которого ей нечего бояться.

Между тем в феврале 1861 г. решением церковного собора был отлучен от церкви главный фигурант Пасхальной акции Илларион Макариопольский и двое поддержавших его владык. Одновременно патриархия выступила с инициативами по урегулированию болгарского вопроса (в историографии они известны как «15 пунктов»). В частности, было принято решение учитывать при назначении церковных иерархов этнический состав паствы и не препятствовать использованию славянского языка в богослужении. Однако реакция болгар оказалась, с точки зрения европейцев, абсолютно неадекватной. В то время как весть о вроде бы столь желанных народных владыках и славянском языке особой реакции не вызвала, информация об отлучении епископов привела население в бурный восторг. Причины такого поведения исчерпывающе объяснил в своем докладе канцлеру А.М. Горчакову русский посланник в Стамбуле А.Б. Лобанов-Ростовский (март 1861 г.). Буквально он сообщил следующее: «Вице-консул в Пловдиве пишет, что новость об отлучении от церкви была по всей стране воспринята радостно. Болгары говорят, что счастливы, что патриарх исполнил их желание, объявив об их отделении от греческой церкви. Митрополит Паисий в присутствии всего духовенства провинции отслужил торжественную службу, после чего было произнесено отлучение в отношении патриарха Иоакима и всех сановников греческой церкви. После этого был изготовлен акт, который устанавливал полное отделение болгарской церкви и который сразу же получил многочисленные подписи. Подобные демонстрации, сопровождаемые криками энтузиастов, произошли в Плевене, Свищове, Рущуке, Шумле, Карнобате, Сливене и Тырново» [6. Т. 1. Ч. 2. С. 69].

В истории церковного конфликта началась новая фаза — на фоне бесконечных и малоэффективных переговоров с Константинопольской патриархией руководство болгарских общин попыталось добиться признания самопровозглашенной церкви путем прямых переговоров с Портой. В середине 1861 г. в Стамбуле было официально учреждено Народное представительство, вплотную занявшееся этим вопросом.

Серьезным шагом для его решения в благоприятном для болгар направлении стало принятие Портой в 1862—1863 гг. Органического статута и ряда других актов, ограничивавших административные полномочия православного и армяногригорианского духовенства (аналогичный документ в отношении иудеев появился на свет в 1865 г.). В соответствии с этими актами, призванными реформировать систему миллетов в духе обещаний Хатти-и хумайуна, заново регулировался статус основных иноверческих общин. Особую важность имело новшество, согласно которому контроль над мирскими делами передавался в гражданские советы, формируемые из представителей духовенства и мирян на местном и центральном уровнях церковного управления.

Предложенное Портой новшество открывало возможность для прямого участия паствы в решении проблем своих епархий, одновременно провоцируя новый виток конфликтов в провинциях с болгарским населением. В этих епархиях началась массовая кампания по изгнанию назначенных патриархией владык (вне зависимости от их этнической принадлежности) и передачи церковно-административного управления непосредственно под контроль местных общин. По информации русских консулов, наиболее жесткие формы это движение приобрело в районах, прилегающих к Балканскому хребту. Из Тырнова В.Ф. Кожевников в 1864 г. сообщал, например, что «в настоящее время Тырновская епархия по делам церковного управления представляет картину совершенного безначалия: граждане [...] захватили в свои руки не принадлежащую им власть и произвольно распоряжаются приходами и монастырями» [6. Т. 2. С. 24].

Однако особое влияние на решение церковного вопроса оказала все же не настойчивость болгарских представителей в Стамбуле и не агрессивность сторонников разрыва с патриархией в провинциях, а начавшийся в 1866 г. политический кризис. События вокруг о. Крит привели к резкому охлаждению отношений между Грецией и Портой. Данное обстоятельство не могло способствовать росту взаимопонимания и с Константинопольской патриархией, а нависшая угроза военного конфликта с Сербией настоятельно требовала от властей умиротворения приграничных епархий. Параллельно менялся международный статус России. Рост влияния русской дипломатии в ходе урегулирования конфликта между турками и греческими повстанцами позволял ей усиливать давление на Грецию (а через нее и на патриарха) в целях достижения компромисса в церковном вопросе.

Избранный не без участия русских дипломатов в феврале 1867 г. новый патриарх Григорий VI энергично приступил к решению затянувшегося спора. В основе предложенного им в мае 1867 г. проекта лежала идея автономной болгарской церкви (экзархии) во главе с митрополитом, зависящим от Константинопольской патриархии. Прямые контакты экзарха с Портой не предусматривались. В состав Экзархии должны были войти лишь епархии, расположенные между Дунаем и Балканским хребтом, в которых болгарское население численно преобладало. Таким образом, патриарх фактически предлагал признать возможность введения национального начала в церковно-административное устройство Константинопольской патриархии. До этого момента и впоследствии подобный подход к решению болгарской проблемы упорно объявлялся греками филетической ересью.

Проект патриарха Григория вполне устроил и Порту, и Россию. Н.П. Игнатьев склонен был приписывать наметившийся прогресс усилиям русской дипломатии и лично себе [3. Т. 1. С. 442]. Великий визирь Али-паша рекламировал в общении

с болгарами собственные заслуги в появлении проекта, особенно подчеркивая, что «патриарх делает им уступки благодаря настоянию Порты» [11. С. 24]. Отчасти это была правда, поскольку вопрос о необходимости удовлетворить требования болгар действительно всерьез обсуждался на заседании правительства. Речь даже шла о возможности учреждения болгарского миллета. Однако на столь радикальное решение вопроса Порта все же пойти не решилась, опасаясь не только окончательного разрыва отношений с греками, но и появления в будущем «русского следа» [11. С. 247].

Хотя компромиссные предложения патриарха Григория, пытавшегося помешать развалу греко-православного миллета, выглядели исключительно привлекательно, членов Болгарского представительства они не устроили. Предложенный проект оставлял за пределами Экзархии болгар Фракии и Македонии. Когда Ст. Чомаков возмущался по поводу отказа новой структуре в экстерриториальности («если возможна отдельная церковь для части болгар, то почему невозможна для всех» [12. С. 404—405]), он скорее всего, был искренен. На фоне общераспространенной в империи практики, когда греки, евреи, армяне обладали (вне зависимости от места своего проживания) церковно-административной автономией, подобный подход выглядел откровенной дискриминацией и воспринимался издевательски. В августе 1867 г. болгарская сторона проект отвергла.

Только в 1868 г., когда политический кризис вокруг о. Крит поставил Порту и Грецию на грань войны, османское правительство перестало чувствовать себя обязанным чутко заботиться о защите традиционных привилегий Константино-польской патриархии в ущерб собственной безопасности. Именно тогда и было принято решение не полагаться более на заседания бесконечных болгаро-греческих согласительных комиссий, а взять ответственность на себя. В марте 1868 г. министр иностранных дел Фуад-паша попросил Болгарское представительство составить для него записку, обосновывающую необходимость введения самостоятельного церковного управления. Тогда же великий визирь Али-паша принял болгарскую депутацию и обнадежил ее, заявив, что «Порта расположена признать болгар в качестве отдельной народности», т.е. миллета [10. С. 275].

Уже в октябре 1868 г. правительство ознакомило болгар с двумя подготовленными проектами. Они предусматривали создание новой церковной структуры, базирующейся на принципе экстерриториальности. Также как и все другие миллеты болгарская церковь признавалась самостоятельной церковно-административной единицей, объединяющей всю болгарскую православную паству вне зависимости от места ее проживания. Новый церковный глава (подобно константинопольскому патриарху, главному раввину, католикосу) должен был иметь резиденцию в столице и прямой выход на курирующее дела иноверцев Министерство иностранных дел. Утверждение этих проектов означало бы для болгар полную победу. Однако, как сетовали в российском посольстве в Константинополе [6. Т. 3. С. 446], вместо того чтобы оперативно воспользоваться благоприятной ситуацией и добиться скорейшего официального оформления документа, болгары начали праздновать учреждение новой иерархии, наивно полагая, «что проекты правительства имеют силу решения». При этом их представители в Стамбуле не могли придумать ничего более своевременного, как обратиться «с окружным письмом ко всем общинам и архиереям», приглашая их немедленно прибыть в столицу для «составления Синода вновь учреждаемой болгарской церкви и сочинения ее органического устава».

Между тем время для принятия благоприятного решения истекло. На фоне начавшихся в январе 1869 г. в Париже заседаний конференции великих держав по урегулированию конфликта вокруг о. Крит демонстративное обострение отношений Порты с греками (в лице Константинопольской патриархии) выглядело не-

уместным. Османское правительство вновь было вынуждено встать на путь поиска компромиссов.

Поскольку предложенный Портой принцип экстерриториальности и присутствия двух православных архиереев в одном месте имел откровенно антиканонический характер, то не мог быть принят патриархией в качестве базы для переговоров. Однако обсуждение всех иных вариантов сразу натыкалось на проблему определения границ во Фракии и Македонии, которые и греки, и болгары считали своей этнической территорией. Переговоры быстро зашли в тупик. Болгарская сторона в лице Ст. Чомакова, Ив. Пенчовича и Стояновича заняла на переговорах непримиримо жесткую позицию — «Фракия и Македония или ничего» [10. С. 301]. В конечном итоге Порта была вновь вынуждена взять весь груз ответственности на себя. 28 февраля 1870 г. на свет появился знаменитый султанский фирман об учреждении Болгарской экзархии.

Фирман представлял собой компромиссный вариант между безупречным с точки зрения канонов проектом патриарха Григория VI (1867) и антиканоническими предложениями Порты (1868). В отличие от проекта патриарха он трактовал Экзархию не как совокупность епархий во главе с митрополитом, которому патриарх поручил управлять данной областью, а как полусамостоятельную церковь с широкой автономией. Наравне с главами других миллетов экзарх получил прямой доступ к османским властям. Таким образом, болгары максимально близко подошли к реализации своей главной цели. Из схемы контактов с османскими властями полностью устранялись посредники в лице греческих иерархов — представителей Константинопольской патриархии, а болгары получали долгожданную возможность напрямую отстаивать перед правительством и местной администрацией свои национальные интересы.

Однако вопрос о принадлежности ряда спорных епархий во Фракии и Македонии остался неурегулированным. На первых порах им попыталась заняться очередная согласительная комиссия. Провал в ее работе произошел по вине националистического крыла активистов болгарского церковного движения. Опасаясь уступок со стороны своих представителей (Г. Кръстевича, М. Балабанова, Н. Михайловского) в процессе подготовки проекта соглашения, что, по мнению Н.П. Игнатьева, действительно было весьма вероятно [3. Т. 2. С. 617], радикалы организовали провокацию, нацеленную на срыв переговорного процесса. На праздник Богоявления (5 января) группа, руководимая Ст. Чомаковым и Р.П. Славейковым, вынудила трех болгарских владык, временно отстраненных от проведения церковных служб, демонстративно нарушить запрет патриарха и отслужить литургию в болгарской церкви Стамбула. В ответ Порте пришлось удовлетворить требование патриарха об их заточении.

Богоявленская акция была резко осуждена русским Синодом и характеризована Н.П. Игнатьевым как «антиканоническая демонстрация», организованная крайней партией Ст. Чомакова и митрополита Панарета с целью сорвать соглашение с Константинопольской патриархией. По мнению российского посла, ее инициаторы полагали, что, организуя «диссидентскую церковь», они, по большому счету, ничем не рискуют: «болгары не потеряют ни одного своего соотечественника, а другие автокефальные церкви, в конце концов, признают новую иерархию» [3. Т. 2. С. 613].

В историографии не вызывает сомнений факт, что Богоявленская акция имела более серьезные последствия для отношений болгар с Вселенской церковью, чем даже султанский фирман 1870 г. Можно согласиться с мнением Ил. Тодева, что Ст. Чомаков был склонен сознательно провоцировать церковную схизму, рассматривая ее в качестве своеобразной гарантии освобождения болгар и от «фанариотского ига», и от излишне навязчивой опеки со стороны России [1. Т. 1. С. 365]. Действительно, такой подход к решению сразу всех болгарских проблем выгля-

дит вполне логично (особенно с учетом того равнодушия, с которым болгарское население встретило объявление схизмы). На фоне османских реалий (системы миллетов) превращение болгар в схизматиков можно считать идеальным условием для окончательного решения церковного вопроса. Также как и при учреждении болгаро-униатской церкви схизматики приобретали полностью автономный церковно-административный статус и равноправное положение с другими, официально признанными Портой конфессиональными общинами. Однако одного желания Ст. Чомакова было недостаточно. Без наличия политической воли со стороны правительства эта цель была абсолютно недостижима.

В отличие от первой половины 1860-х годов, когда Порта старательно избегала обострять отношения с греками и Россией, в 1872 г. политическая ситуация расколу благоприятствовала. После смерти великого визиря Али-паши (1871) Порту несколько лет сотрясала правительственная чехарда. Периодически (иногда с промежутком в два-три месяца) к власти приходили кабинеты различной ориентации. Поэтому о наличии единой и долговременной политики по какому-либо вопросу говорить не приходилось. Наибольшая степень взаимопонимания у болгарских радикалов установилась с кабинетом Мидхат-паши.

Заняв пост великого визиря, в церковном вопросе Мидхат-паша фактически начал следовать линии, сформулированной бывшим министром иностранных дел Фуад-пашой в период последней фазы Критского кризиса. В своем так называемом Политическом завещании, направленном на имя султана незадолго до смерти (1869), Фуад-паша высказал мысль о необходимости ослабить политические позиции греков, стараясь изолировать их от других христианских подданных. По поводу церковного вопроса он, в частности, писал: «В особенности следует избавить болгар от господства греческой церкви, не связывая их ни с русским, ни с римско-католическим духовенством» [13. Р. 36]. Оптимальным образом все эти цели достигались опять же посредством объявления церковной схизмы.

Н.П. Игнатьев со своей стороны подозревал, что именно Мидхат-паша сознательно подталкивал болгар и греков к схизме. По его мнению, великий визирь руководствовался идеей, что в случае примирения «потребуется через разграничение епархий определить политические границы Болгарии», в то время как «создание диссидентской церкви, освободит Порту от необходимости проведения демаркационной линии между двумя национальностями и поддержит выгодный османскому государству антагонизм» [3. Т. 2. С. 627]. Скорее всего, данный фактор вполне мог присутствовать в планах великого визиря. Также как и стремление изолировать болгар (в качестве схизматиков) от опеки России. На последнее со всей определенностью указывает весьма знаменательная характеристика, данная спустя несколько лет деятельности Ст. Чомакова в качестве лидера болгарского церковного движения Мидхат-пашой. «Среди болгар есть лишь один умный человек – Чомаков, – отметил Мидхат-паша, – он единственный понял, в чем состоят интересы болгарского народа. Все другие болгары готовы стать слугами и рабами России» [1. Т. 1. С. 413]. Статус схизматиков в этом случае также предоставлял уникальные возможности. Русскому Синоду действительно стоило большого труда проигнорировать в 1872 г. своим присутствием Вселенский собор и отстраниться таким образом от его решений.

В отличие от великого визиря Али-паши, воспротивившегося в 1870 г. созыву для обсуждения болгарского вопроса Вселенского собора, в августе 1872 г. Мидхат-паша такое разрешение дал. Более того, в день его открытия он направил в Фанар гонца с сообщением, что принятие решения о схизме не противоречит интересам османского правительства [1. Т. 1. С. 367]. Когда же схизма была объявлена, поздравил болгар с благоприятным для них разрешением давнего конфликта, заявив, что теперь они могут претендовать на учреждение нового миллетапатриархии (для этого он издаст новый фирман взамен указа от 1870 г.). Вскоре в

этом же смысле высказался и министр иностранных дел Шериф-паша. Он также подчеркнул, что благодаря изданию нового фирмана болгары получат право назначать своих владык «куда угодно», как он выразился, «хоть даже в Петербург» [1. Т. 1. С. 367, 369]. Еще Шериф-паша добавил, что для направления схизмы в практическое русло кроме издания нового фирмана было бы желательно изменить облачение болгарского духовенства (как внешний признак раскола в православии) и отправить во все епархии одновременно с болгарскими также и греческих священников (в качестве представителей другого вероисповедания) [3. Т. 2. С. 635].

Учитывая традиции экстерриториального устройства османских миллетов, в словах о Петербурге (при всей их одиозности) крылось зерно истины. Шерифпаша просто хотел подчеркнуть, что новый указ узаконит правовое положение болгар-схизматиков, что епархиальные и административные границы перестанут иметь для них значение, что все они (вне зависимости от места проживания) будут в церковно-административном отношении единым автономным целым. Для него, также как и других османских подданных, узаконенная фирманом схизма выглядела актом юридического признания болгар в качестве самостоятельной в правовом отношении нации (миллета).

Среди болгар горячим сторонником признания османскими властями схизмы и издания нового фирмана был Ст. Чомаков [1. Т. 1. С. 368]. В частности, он предлагал изменить десятую статью фирмана 1870 г., четко прописав в ней принцип экстерриториальности, что позволило бы отправлять архиереев и священников в любое место проживания болгар (первых с бератом, вторых с буюрултии – письменным разрешением правительства). Однако в этом вопросе его радикальные взгляды поддержки среди соотечественников не нашли. Большинство болгарских владык, испугавшись клейма схизматиков и столь явных отступлений от православных канонов, категорически воспротивилось отмене фирмана 1870 г. Они твердо стояли на позиции, что болгарская церковь должна остаться во всех отношениях православной.

Нажим на болгар со стороны Порты продолжался до апреля 1873 г. Ситуация изменилась лишь с назначением на пост великого визиря сторонника прорусской ориентации Рюшди-паши. Не без влияния Н.П. Игнатьева Порта отказалась от намерения санкционировать схизму и издать новый фирман. Поставленные в безвыходную ситуацию, болгарская и греческая стороны вновь были вынуждены сесть за стол переговоров, затянувшихся до начала русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

В заключение хотелось бы отметить, что признание османской матрицы в качестве императива для выстраивания приоритетов в деятельности лидеров болгарского церковного движения позволяет не только логически построить основную канву событий 1856—1872 гг., но и пролить дополнительный свет на истоки кризиса в отношениях между светскими властями Княжества Болгария и Экзархатом, начавшего набирать обороты практически сразу после 1878 г.

В этой связи достаточно напомнить, что вплоть до 1913 г. в полном соответствии с традициями османских миллетов резиденция болгарского экзарха продолжала размещаться не в столице вновь образованного государства (в Софии заседал лишь синод), а в Стамбуле. При этом Экзархия, хотя и финансировалась болгарским правительством, оставалась официальным османским учреждением, объединявшим под своей юрисдикцией не только подданных княжества, но также болгар Македонии и Фракии. В условиях схизмы (которую формально никто не отменял) болгарские анклавы оказывались на этих территориях автономны по отношению к Константинопольской патриархии. Данное обстоятельство не могло не служить подпиткой для иллюзий на возможность политического объединения нации.

Создавшееся положение было чревато конфликтами. Константинопольская патриархия в своих обращениях к Порте неоднократно указывала, что на фоне

итогов русско-турецкой войны и перекройки политических границ на Балканах фирман 1870 г. следует признать утратившим законную силу [14. С. 445]. Что касается Княжества Болгария, то его правительство (в отличие от османских властей) не было склонно делиться с духовенством своими властными полномочиями. Результатом его длительного противостояния с собственным духовенством стало принятие в 1910 г. постановления, попытавшегося лишить экзарха прерогатив высшей власти в церкви, а сам Экзархат — претензий на статус, ориентированный на прежнюю (османскую) модель взаимодействия светской и церковной власти. В представленном под давлением правительства докладе комиссии Синода отмечалось, в частности, что церковь не может являться «светским, национальным или политическим учреждением», а церковное устройство базироваться на экстерриториальном принципе национальностей [14. С. 226].

Окончательно крест на претензиях болгарского духовенства на роль неформального лидера в жизни нации поставило поражение в Межсоюзнической войне. Правительство прекратило денежные выплаты Экзархату за второе полугодие 1913 г., внесло в Народное собрание предложения об изменении церковного устава и отказало Синоду после смерти экзарха Иосифа I (1915) в просьбе о проведении выборов нового главы. Все эти меры достаточно определенно указывают на то, что спустя лишь десятилетия после освобождения Болгарии процесс секуляризации ее общества действительно вышел на качественно новый уровень. Из жизни болгарской нации начал окончательно уходить один из важнейших рудиментов османской матрицы — представление о приоритете категорий конфессионального характера и особом статусе института церкви.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. *Тодев Ил.* Д-р Стоян Чомаков (1819–1893). Живот, дело, потомци. София, 2008. Т. 1. Изследване. 2. *Гришина Р.П.* Лики модернизации в Болгарии в конце XIX начале XX в. (бет трусцой по пере-
- сеченной местности). М., 2008. 3. Граф Н.П. Игнатиев. Дипломатически записки (1864–1874). София, 2008. Т. 1; София, 2009.
- 4. Christians and Jews in the Ottoman Empire. The Functioning of a Plural Society. New York, 1982. Vol. 1–2; *Inalcik H*. The Ottoman Empire. The Classical Age, 1300–1600. London, 1973; *Karpat K*. An Inquiry into the Social Foundations of Nationalism in the Ottoman State: from Social Estates to Classes, from Millet to Nations. Princeton, 1973; *Kamel S*. Abu Jaber. The Millet System in the Nineteenth Century. Ottoman Empire // The Muslim World, 1967. Vol. 62, № 3. P. 214–234; *Papadopulos S*. Les privilèges du Patriarcat Oecuménique (Communauté Grecque Orthodoxe) dans l'Empire Ottoman. Paris, 1924.
- 5. Макарова И.Ф. Османская матрица для освобожденной Болгарии // Славяноведение. 2009. № 2.
- 6. Русия и българското национално-освободително движение. 1856–1876. Документи и материали. София, 1987. Т. 1. Ч. 1, 2; София, 1990. Т. 2; София, 2002. Т. 3.
- 7. *Смоховска-Петрова В.* Неофит Бозвели и българският църковен въпрос (Нови дани из архива на А. Чарторийски). София, 1964; *Макарова И.Ф.* Еще раз об истоках болгарского церковного вопроса // Славянский мир в третьем тысячелетии. Славянская идентичность новые факторы консолидации. М., 2008; *Sharova K.* Les Bulgares das la politique balkanique de l'emigration polonaise (1842–1853) // Bulgarian Historical Review. 1974. № 3; *Skowronek J.* Sprzymierzeńcy narodów balkańskich. Warszawa, 1983.
- 8. *Кирил, патриарх Български*. Граф Н.П. Игнатиев и българският църковен въпрос. Изследване и документи. София, 1958. Т. 1.
- Дамянов С. Франция и българската национална революция. София, 1968. С. 99; Пантев А. Англия и българският църковен въпрос (1860–1870) // В чест на Д. Косев. София, 1974. С. 46; Widerszal L. Bulgarski ruch narodowy. 1856–1872. Warszawa, 1937. С. 135–139.
- Ников П. Възраждане на българския народ. Църковно-национални борби и постижения. София, 1971.
- 11. *Кирил, патриарх Български*. Католическата пропаганда сред българите през втората половина на 19 век. София, 1965. Т. 1. (1859–1865).
- 12. Шопов Ат. Стоян Чомаков. Живот, дейност и архива. София, 1919.
- 13. Farley J. The Decline of Turkey. London. 1875.
- 14. *Кирил, патриарх Български*. Българската экзархия в Одринско и Македония след Освободителната война (1877–1878). София, 1969. Т. 1.



© 2011 г. С.А. РОМАНЕНКО

АВСТРО-ВЕНГРИЯ И БАЛКАНЫ ГЛАЗАМИ ТЕОРЕТИКОВ РОССИЙСКИХ СОЦИАЛИСТОВ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Статья основана на частично вошедших в последнее время в научный оборот статьях Л. Троцкого, а также «забытых» – Л. Мартова, В. Левицкого, Ф. Дана, М. Павловича, В. Чернова, опубликованных в легальной российской ежедневной и периодической печати. После Октябрьской революции значительная часть аналитического наследия не только большевиков, но и других социалистических партий легла в основу советской внешней политики и политики Коминтерна в Средней Европе.

This article is based on editorials and other kinds of materials published by the Russian socialists – L. Trocky, L. Martov, V. Levitsky, F. Dan, M. Pavlovich and V. Chernov in legal newspapers and periodicals before World War I. After The October Revolution of 1917 some part of their legacy was taken by the Bolshevik leaders as a principle of both the Soviet foreign policy and the Komintern activities.

Ключевые слова: Австро-Венгрия, Балканы, Центральная (Средняя) Европа, национальное самоопределение, внешняя политика России, меньшевики, эсеры.

Австро-Венгрия и Балканы — два региона (монархию Габсбургов, охватывавшую большую часть Центральной Европы, вполне можно назвать регионом), которые со второй половины XIX в. — вплоть до событий 1917—1918 гг. привлекали пристальное внимание российских дипломатов, военных, ученых, политических деятелей и публицистов всех направлений — либералов, консерваторов, националистов. Связано это было, во-первых, с непростыми русско-австрийскими отношениями, которые не в последнюю очередь из-за соперничества на Балканах в 1914 г. привели к лобовому столкновению. Во-вторых, политические классы и интеллектуальные элиты России и Австрии тщательно анализировали общие черты и специфику развития двух государств, исходя не только из внешнеполитического соперничества, но и одинаковых проблем и схожести судьбы многонациональных монархий.

Не стали исключением и вполне идеологически и организационно оформившиеся в начале XX в. российские социалисты — оба течения в РСДРП — большевики и меньшевики, а также социалисты-революционеры (ПСР, эсеры). Однако внешнеполитические проблемы их интересовали не только и не столько сами по себе, сколько как фактор, влияющий на политику внутреннюю, к тому же позволяющий использовать его в собственных политических целях. В то же время их интересовали практический опыт и политико-философские искания социал-демократического и рабочего движения Австро-Венгрии. Полемика между тремя идей-

Романенко Сергей Александрович – канд. ист. наук, ведущий научный сотрудник ИЭ РАН.



ными направлениями, их лидерами и теоретиками распространилась на проблемы внешней политики, которые неизбежно рассматривались в контексте концепций путей к социализму и межнациональных отношений (см., например [1]). Если по отношению к аннексии Боснии и Герцеговины (1908) и балканским войнам (1912— 1913) их позиции методологически и оценочно во многом были схожи или близки. то во время Первой мировой войны взгляды по внешнеполитическим вопросам, тесно связанным с самым главным внутренним вопросам России – войны и мира, разошлись Разным было отношение большевиков, меньшевиков и эсеров к австрийской социал-демократии, прежде всего - к австромарксистам, их идеологии и позиции, занятой летом 1914 г. В отличие от большевиков меньшевикам (исключены из РСДРП в январе 1912 г.) в годы Первой мировой войны не удалось сохранить свое идеологическое единство. В партии возникло три течения: «оборонцы» выступали за победу России и ее союзников в войне; «интернационалисты» поддерживали требование демократического мира без аннексий и контрибущий и «межрайонцы» пытались воссоздать единую РСДРП путем примирения различных течений и группировок. Раскол произошел и в партии эсеров.

Межпартийная полемика находила свое отражение как на страницах центральных печатных органов — «Правды» и «Луча», газет, которые их заменяли под разными названиями вследствие репрессивной политики царского правительства по отношению к социал-демократической прессе, а также в легальных и нелегальных брошюрах, изданных как в России, так и за рубежом.

Внешнеполитическая информация в большевистской «Правде» и меньшевистском «Луче» по объему, содержанию и стилистике сильно различалась. Редакцию «Правды» и стоявшего за ней Ленина практически не интересовала внешняя политика как таковая. Информация о событиях за границей в основном сводилась к кратким телеграммам, печатавшимся столбиком на третьей полосе. Лишь изредка на первой или второй полосах появлялись материалы, посвященные внешнеполитическим проблемам и международному рабочему движению, в частности — ситуации в австрийской социал-демократии. Вся информация была подчинена одной единственной цели — классовой борьбе пролетариата, одному средству — «разоблачению оппортунистов», либералов, черносотенцев.

Внешнеполитическая проблематика в «Луче» была представлена гораздо более широко. Посвященные ей передовые и «подвалы» печатались на первой и второй полосах. В жанровом отношении это была и краткая информация, и злободневные комментарии, и серьезная политическая аналитика, и политико-пропагандистские статьи. При этом внешнеполитические события (в том числе на Балканах и в Австро-Венгрии) представляли для редакторов «Луча» самостоятельную ценность. Поэтому грамотные рабочие и другие читатели газеты получали возможность размышлять о развитии межгосударственных и межнациональных отношений, о месте России в Европе и ее восприятии внешним миром, как союзниками — Великобританией и Францией, так и противниками — Германией, Австро-Венгрией, Турцией, а также балканскими государствами, за влияние на которые шла борьба между двумя враждебными блоками и входившими в них государствами. Гораздо более благосклонно, чем «Правда» относился «Луч» к австрийской социал-демократии, политике которой на страницах газеты и журнала «Наша заря» также уделялось большое внимание.

Проблемы внешней политики и международного рабочего движения в «Луче» освещали Ф.И. Дан, Л. Мартов (Ю.О. Цедербаум), М.Л. Павлович (Вельтман) и другие. При этом их оценки далеко не всегда совпадали концептуально. Авторы статей, даже знаменитые, часто не обладали знанием и пониманием австровенгерской и балканской реальности. Они механически переносили с России на Австро-Венгрию, балканские государства и Турцию свои упрощенные социально-политические схемы. Для многих статей характерна черно-белая схема. Нега-

тивная коннотация — «великие державы» (их роль в судьбе Балкан чрезмерно преувеличивалась и принижалось значение внутрирегиональных этнополитических и социальных процессов, суть которых во многих случаях им оставалась неизвестной), «династии», «правящие классы» — помещики, буржуазия, бюрократия, а также политические характеристики — «патриоты», «националисты». Позитивная коннотация — «народ», «пролетариат» (рабочий класс), «демократия», «интернационализм».

Бросается в глаза, что в публицистике и аналитических работах представителей всех трех партий практически отсутствуют ссылки на работы российских ученых (см., например, [2]). Объясняется это среди прочего, недоверием, вызванным политическими расхождениями с учеными, принадлежавшими в своем большинстве к либеральному и консервативному политическому течению в России и потому враждебному как социально-революционным, так социально-реформистской партиям. И большевики, и меньшевики, и эсеры политико-исторический анализ событий в регионе Средней Европы основывали на работах прежде всего германских и австро-немецких публицистов и ученых. Реже можно видеть сноски с упоминанием британских, французских и итальянских источников. Что же касается венгерского языка и языков южных славян, то они ими не владели, информацию и оценки черпали из все той же преимущественно германской и австро-немецкой печати и литературы.

Российские социал-демократы в период аннексии Боснии и Герцеговины в 1908 г. и балканских войн в 1912—1913 г. занимали особую позицию и критиковали как отечественных либералов, так и отечественных консерваторов за великорусский национализм и имперские притязания, эксплуатировавшие «славянскую илею».

Одним из первых среди публицистов социалистического направления обратил внимание на важность и ценность опыта социалистического движения в Венгрии эсер В.П. Чернов. Еще в 1902 г. он опубликовал обстоятельную брошюру «Из практики социалистического движения в Венгрии и Италии», которая была переиздана в 1905 г. В предисловии он справедливо писал: «Казалось естественным, что и литература наша не обращает особенно большого внимания на социалистическое движение в этих странах. Такое отношениие однако мне кажется несколько односторонним и неправильным. Оно может повести и, действительно, ведет к очень важным ошибкам [...] И если в смысле исторической зрелости социалистическое движение в Венгрии и Италии не представляет особенного интереса, и потому с грехом пополам еще можно оправдать третирование его, как малозначащего, наоборот, обе эти страны выдвигаются на первый план если речь пойдет о большем или меньшем сходстве условий развития социализма в этих странах сравнительно с условиями его развития на нашей родине» [3. С. 5–6].

Сравнение России с Венгрией и Италией рассматривалось Черновым в контексте его полемики с социал-демократами, которые исходили из того, что социализм должен опираться исключительно на пролетариат, на индустриальное и городское население «Есть страны, в которых благодаря международному разделению труда имеет место чуть не атрофия сельского хозяйства и земледелия и гипертрофия высших отраслей индустрии. И, рабски копируя их, мы специализировали свою программу на интересах одной части трудящегося населения, именно на интересах фабрично-заводского пролетариата [...] "Манифест Российской социал-демократической рабочей партии" (1898) издан как будто в стране, где крестьянство представляет собой ничтожное меньшинство населения, о котором не стоит и говорить» [3. С. 10].

В оценке социально-экономической ситуации в Венгрии Чернов исходил из того, что «по общему складу своей хозяйственной жизни Венгрия во многом напоминает Россию. Во-первых, это страна по преимуществу земледельческая [...]

Венгерская индустрия в общем развита весьма слабо [...] и рассчитана почти исключительно и всецело на внутренний рынок [...] Настоящая современная капиталистическая промышленность существует в Венгрии каких-нибудь 35-40 лет Она пересажена сюда из-за границы и даже по личному составу предпринимателей до сих пор является главным образом делом рук иностранцев. И это несмотря на то, что венгерское правительство стремится всеми силами создать ряд "собственных" крупных индустриальных центров; несмотря на то, что предпринимательский капитал никогда не встречал отказа в поддержке и покровительстве со стороны власти, особенно если дело касалось создания или введения в стране какой-нибудь новой отрасли промышленного дела. Благодаря этому получился усиленный прилив в страну иностранных капиталов, преимущественно из Австрии и Германии. Но эти иностранные капиталы устремились в страну, руководимые главным образом спекулятивными и коммерческими целями. Чего-либо крупного в области производства они почти не создали. Поле их деятельности была главным образом столица, где близость к правительству с его щедротами и милостями лучше и проще всего гарантировала успех. Кроме того в разных местах страны, особенно на границе с Австрией, образовался еще ряд небольших индустриальных оазисов. Вот и все результаты усиленных забот и хлопот» [3. С. 11–12].

Сугубо венгерская тематика привлекла в 1912 г. и В. Левицкого (В.О. Цедербаума). В журнале «Наша заря» в 1912 г. он посвятил большую статью политическому развитию Венгрии, справедливо заметив, что «Венгрия принадлежит к числу государств, где элементы национального и социального угнетения тесно переплетаются между собой. Это чрезвычайно усложняет как политическую демократизацию страны, так и классовое самоопределение пролетариата [...] Нередко бывало, что австрийская монархия, в погоне за союзниками, искала опоры в венгерском пролетариате, демагогически выдвигая те или другие демократические реформы. Так было и в 1905 г. и в 1910–1911 гг., годы обострения борьбы между венгерским парламентом и короной» [4. С. 51–52].

Говоря о достижениях венгерской социал-демократии, Левицкий отметил, что ей удалось «в течение сравнительно короткого времени организовать мсассы пролетариата на почве борьбы за всеобщее избирательное право, которая уже несколько лет ведется в Венгрии в форме уличных демонстраций» [4. С. 52].

Главными проблемами Венгрии в начале 1910-х годов Левицкий назвал «сепаратистски-националистическую тенденцию венгерского парламента и военную реформу. Причем, — отметил он, — для борьбы с "сепаратистами" австрийское правительство думало найти в народах Венгрии противовес партии венгерской независимости», прибегнув к испытанной политике «разделяй и властвуй» [4. С. 53].

Что же касается избирательной реформы, то «после движения пролетариата все оппозиционные партии парламента сошлись на общем проекте реформы, предоставляющим право всем гражданам, имеющим читать и писать, имеющим оседлость в течение двух недель [...] Хотя проект не отвечает всем требованиям с[оциал]-д[емократ]ии, но она решила поддержать его, так как он делает шаг вперед в сторону всеобщего избирательного права». «Нет сомнений, — заключил В. Левицкий, что венгерский пролетариат окажется в надлежащий момент на своем посту!» Что, однако, не подтвердилось летом 1914 г. [4. С. 55–56].

Наиболее яркой и компетентной фигурой в социалистической публицистике и журналистике тех лет считается Л.Д. Троцкий [5]. В 1908, 1910 и 1912 г. он был балканским корреспондентом некоторых русских газет. В отличие от лидеров и теоретиков как меньшевиков – Л. Мартова, В. Левицкого, Ф.И. Дана и большевиков, рассуждавших о Балканах – В.И. Ульянова (Ленина), И.В. Джугашвили (Сталина), Л.Б. Каменева, Г.Е. Зиновьева – он обладал практическим знанием (хотя, вероятно, не слишком глубоким, замешанном на схемах и лозунгах) и опытом собственного пребывания в этих странах.

В статье «Балканы, капиталистическая Европа и царизм» (октябрь – ноябрь 1908 г.) Троцкий обосновывал свою позицию по отношению к Боснийскому кризису 1908–1909 г., поставившему Европу на грань войны: «Нынешние государства Балканского полуострова были изготовлены европейской дипломатией за столом Берлинского конгресса 1878 года. Там были приняты все меры, чтобы национальное многообразие Балкан превратить в постоянную свалку мелких государств. Ни одно из них не должно было перерасти известного предела, каждое в отдельности было опутано дипломатическими и династическими узами и противопоставлено всем другим, наконец, все вместе они были осуждены на бессилие пред крупными европейскими государствами с их непрерывными интригами и происками [...] Как бы ни был пронзителен визг русской славянофильско-патриотической прессы против насилия Австрии над славянством, он не уничтожит того факта, что обе провинции были вручены Габсбургской монархии более 30 лет тому назад и притом не кем иным, как Россией. Это была взятка, которую Австрия получила согласно тайному Рейхштадтскому соглашению 1876 года с правительством Александра II за свой будущий нейтралитет в русско-турецкой войне 1877–1878 г.» [6. С. 14].

«Неопанславизму¹ пришлось, однако, подвергнуться уже через несколько недель суровому испытанию. И что же? Болгары столкнулись с "исконным врагом" славянства, Австрией и облегчили ей присоединение двух населенных сербами провинций. Пользовавшийся неизменной поддержкой кадетов Извольский, представитель так называемого нового курса, дал свое тайное согласие на "распятие" славянства. Австрийские поляки, русины и чехи, в лице своих националистических партий, выразили в австро-венгерских делегациях свою полную солидарность с габсбургским захватом. Таким образом, на второй день после "всеславянского" съезда в Праге история снова показала, — в который уже раз! — что всеславянское братство есть лицемерная фикция и что национально-династические, как и буржуазно-империалистические интересы не справляются с этнографическим словарем» [6. С. 23].

«Пролетариат России не может посылать Романова на борьбу с Австрией, – продолжал он, — ибо Австрия нам не враг, а Романов нам не друг. Внутри Австрии и у нас, как и у сербского народа, есть верный и неутомимый союзник: австрийский пролетариат, который не на жизнь, а на смерть борется со своим правительством» (это было явное преувеличение. — C.P.). «Мы окажем лучшую услугу сербам Боснии, как и всем вообще угнетенным народам, когда сорвем корону с головы Николая II. Помогать же кому бы то ни было царскими штыками мы не можем: на этих штыках — наша собственная кровь!», — заключал Троцкий [6. C. 26].

Социал-демократы продолжали критиковать славянское увлечение русского общества. В статье «Балканский вопрос и социал-демократия» Троцкий с изрядной долей иронии охарактеризовал второй съезд неославистов в Софии в 1910 г.: «На петербургских совещаниях и затем на Пражском съезде 1908 года новое "всеславянство" выступило на сцену при звуках труб и барабанном бое: оно обещало примирить поляков с русскими, русин – с поляками, сербов – с болгарами, уничтожить трения и вражду между буржуазными классами всех славянских наций и возвести здание нового славянства на фундаменте свободы, равенства и братства. С того времени прошло два года, – и Софийскому съезду пришлось подводить печальные итоги. За это время все противоречия внутри славянства успели достигнуть небывалой остроты. [...] О больных вопросах – польском, украинском, югославянском, балканском – молчали по взаимному уговору; это было выгоднее всем участникам всеславянской комедии. Карликовые династии в "отрубных участках" Балканского полуострова служили и служат рычагами европейских дипломатических интриг. И вся эта механика, основанная на насилии и коварстве,

¹О движении неославистов, см., например [7].



огромной тяжестью ложится на балканские народы, угнетая их экономическое и культурное развитие» [6. С. 37].

Анализируя экономическую и этнополитическую ситуацию на Балканах в начале XX в., Троцкий писал: «Этот богато одаренный от природы полуостров бессмысленно разрезан на мелкие куски; люди и товары при своем движении наталкиваются на колючие изгороди государственных границ, и эта национальногосударственная чересполосица не дает сложиться единому балканскому рынку как основе могущественного развития балканской индустрии и культуры. К этому присоединяется изнурительный милитаризм, призванный охранять раздробленность полуострова и порождающий гибельные для экономического развития опасности войн на Балканах – между Грецией и Турцией, между Турцией и Болгарией, между Румынией и Грецией, между Болгарией и Сербией». Публицист, следуя представлениям части социал-демократии тех лет о закономерности образования и преимуществах крупного государства перед несколькими мелкими, утверждал, что «единственный выход из национально-государственного хаоса и кровавой бестолочи балканской жизни – объединение всех народов полуострова в одно хозяйственно-государственное целое на основе национальной автономии составных частей, – только в рамках единого балканского государства сербы Македонии, Санджака, собственно Сербии и Черногории смогут объединиться в одну национально-культурную общину, пользуясь в то же, время всеми преимуществами общебалканского рынка» [6. С. 37–38]. Эта идея, однако, не принадлежала Троцкому. Он лишь повторял концепцию социал-демократов балканских стран [8. S. 137–139; 9. S. 192–213].

Троцкий полагал, пути решения балканских проблем содержатся в документах «заседавшей в Белграде прошлой зимой (то есть в январе 1910 г.). Балканской конференции, в составе представителей сербской, болгарской и румынской социал-демократических партий, социал-демократических групп Македонии, Турции и Черногории, а также сербского (он не упоминал о хорватских и словенских социал-демократах, вероятно считая их сербами. -C.P.) социал-демократического пролетариата южных провинций Австро-Венгрии, которая выработала общие принципы балканской политики пролетариата, направленной на уничтожение балканского партикуляризма и милитаризма, национальной борьбы и чужеземного насилия. Вторая балканская конференция, которой предстоит собраться ближайшей зимой, имеет своей задачей создать тесную организационную связь и наметить формы совместных политических выступлений всех социал-демократических партий на Балканах. Так на наших глазах из балканского хаоса и мрака выступает объединенная секция социалистического интернационала» [6. С. 42]. При этом Троцкий не упомянул конференцию югославянских социал-демократов в Любляне 21–22 ноября 1909 г.

Что же касается внутриполитических проблем Австро-Венгрии, то Троцкий, как и все идеологи, публицисты и журналисты социалистического направления основное внимание уделял рабочему движению. В «Правде», издававшейся в Вене, в ноябре (декабре) 1909 г. была опубликована статья «Профессиональное движение в Австрии». Ее автор — А. Браун был представлен читателям как «один из лучших знатоков германского и австрийского рабочего движения». «Австрийскому профессиональному движению приходится преодолевать массу трудностей, прежде всего из-за многообразия языков, — писал он. — Но зато особым преимуществом австрийского рабочего движения является та тесная связь, которая существует наряду с полным разделением труда между политической и профессиональной организацией пролетариата. Обе организации сплетаются между собою, начиная с низших ячеек и кончая организационными верхушками». Не мог избежать автор нараставших и сказывавшихся и в рабочем движении Австро-Венгрии национальных проблем. Конечно, нельзя утверждать, что это единство обеих частей рабо-

чего движения — политического и профессионального — обеспечено уже на все времена. Национальные трения не пощадили и социал-демократической партии Австрии. Трения эти часто угрожают единству профессиональной организации. Они повели уже к образованию рядом с общеавстрийскими профессиональными союзами, особых союзов чешской социал-демократии, что было встречено с чрезвычайно тяжелым чувством, как общеимперской Центральной комиссией, так и объединенными в ней профессиональными союзами. Образование чешских союзов в тех же самых профессиях вызвало очень резкое отношение со стороны общеавстрийских союзов, состоящих главным образом из немецких рабочих, но также и польских, румынских, словенских, хорватских, итальянских и др. Но в то время, когда в проф[ессиональной] организации выступают такого рода трения, австрийская социал-демократия со всей энергией старается сохранить единство всей классовой борьбы вопреки всем национальным распрям» [10].

«Луч» уделял большое внимание обеим балканским войнам. Его авторы по-разному оценивали характер Первой балканской войны: одни признавали ее освободительной для христианских, балканских и славянских народов по отношению к Турции, другие — видели лишь стремление Болгарии, Греции, Сербии и Черногории к территориальным приобретениям. «Это была не только война славян против турок, это была, как писали, священная война христиан против мусульман. Христиане-славяне встали как один человек, чтобы свергнуть турецкое иго, освободить родственные славянские народы от дикого бесчеловечного обращения» [11. 1913. 20 VI].

Причину Второй балканской войны автор «Луча» (вероятно, Л. Мартов) видел в том, что «не славянские *народы* пошли тогда войной против турецкого *народа*, а славянские *правительства* против турецкого, господствующие классы славян против господствующих классов турок! Не интересы *народов*, не интересы *христиан* и не славянские интересы имелись в виду, а интересы династий, интересы алчной буржуазии, интересы господствующих классов, стремившихся захватить побольше чужих рынков для эксплуатации трудящихся! Освобождение христиан от мусульман, освобождение славян от "турок" – все это вздорные сказки, которыми убаюкивают народные массы», – закончил автор статью.

Возникает сразу несколько недоуменных вопросов. Во-первых, считает ли автор, что было бы лучше, если бы «народы» а не «правительства» пошли друг против друга? Во-вторых, раз война — акт, чуждый «интересам народа», следовательно, народ (в социальном понимании этого слова) был доволен своим положением? Хотя он верно уловил двойственность характера Первой балканской войны, однако не смог выйти за рамки жесткой «марксистской» социально-политической схемы, которая довлела над ним в ущерб знанию и пониманию реальной ситуации и природы национальных движений.

С другой стороны, был верно подмечен двойственный характер Первой балканской войны: «Вместо "освобождения" бесчисленное множество греков подпало теперь под иго славян-болгар, а славяне-болгары и албанцы подпали под иго славян-сербов и греков».

Эта позиция изначально обусловлена отношением российских социал-демократов, независимо от их фракционной принадлежности и идеологических разногласий к национализму. Они рассматривали его не как исторически обусловленное явление, но исключительно как средство, которым сознательно пользуются буржуазия, «господствующие классы», «бюрократия», «династии» для сохранения существующего социально-экономического уклада и своей власти. «Национализм – вот один из тех устоев, на которых думает упрочить свое существование современный правительственный режим. Разбудить дикие инстинкты, расовые предрассудки народной массы, натравить одну национальность на другую, разъединить их, чтобы властвовать над ними – это испытанное оружие реакции во

всех странах», – говорилось в одной из передовых статей «Луча» – «Национализм и рабочие» – в октябре 1912 г. [11. 1912. 7 X].

Так же как и «ленинцы», меньшевики считали, что «пролетариату» и «народу» якобы имманентно присущи если не сознательный интернационализм, то, во всяком случае, неприятие национализма, который является одной из причин войн. [11. 1912. 26 IX]. В политическом отношении единственной антивоенной партией авторы «Луча», как и авторы «Правды» считали социал-демократию [11.1912. 18 IX] (ср.: [12. 1913. 10 V]).

Вместе с тем они признавали, что «доведенные до отчаяния крестьянские и мещанские массы балканских государств готовы искать теперь спасения в брошенных им командующими классами воинственных лозунгах, в братоубийственной свалке народов» [11. 1912. 5 X]. Но при этом «рост пролетарского сознания и солидарности, угрожающий классовому господству буржуазии, и сейчас уже является самым могучим фактором ее миролюбия» [11. 1912. 7 X]. Как показали дальнейшие события, это утверждение оказалось очень далеко от реальности, не только по отношению к «буржуазии», но и по отношению к «пролетариату».

Меньшевики, так же как и большевики критические относились к общеславянскому движению, справедливо считая его одним из проявлений национализма и политики официальной Российской империи. Исходя из этого они негативно оценивали Первую балканскую войну. В одной из передовых – «Торжество славянской идеи» «Луч», перекликаясь с идеями Ленина, писал: «Из истории мы знаем много примеров борьбы за освобождение национальностей из-под чужого ига и их объединение. Но эта борьба бывает двух родов. Когда она организуется сверху, правительствами и господствующими классами, она всегда носит характер завоевательный, стремится поработить другие национальности и всегда в таких случаях она приводит к еще большему усилению власти господствующих классов, к еще большему отягощению народных масс, к еще большему ограничению их прав. Лишь тогда, когда она идет снизу, из недр народных масс, она на только не посягает на свободу и независимость других народов, но всегда идет рука об руку с борьбой против привилегий господствующих классов, с борьбой за демократию. Тогда правительства и господствующие классы являются самыми злейшими врагами борьбы за освобождение или объединение национальностей» [11. 1913. 27 VII.

Что же касается конкретных аналитических прогнозов относительно возможного развития событий, то 27 сентября 1912 г. в статье «Накануне войны» автор «Луча» справедливо писал: «На короткое время опасность войны может быть отсрочена, допустим, созывом всеевропейской конференции, которая принудила бы Турцию признать автономию христианских народностей. Но прочная автономия нетурецких национальностей в Турции может быть проведена только революционным путем, путем свержения господствующих в Турции мусульманских помещиков и бюрократов. Между тем, турецкая революция закончилась поражением революционной турецкой партии – младотурок. Само это поражение вызвано тем, что младотурецкая партия не только не решилась вступить на путь автономии отдельных народностей Турции, но и нарушила обещание дать им действительное равноправие. Оказалась же она столь нерешительной и реакционной в этом жизненном вопросе именно потому, что господствующие турецкие классы - помещики, ростовщики, духовенство, бюрократия – все еще слишком сильны, а эксплуатируемая ими крестьянская масса слишком забита и бессознательна, чтобы понять необходимость свержения их господства и необходимость для этого свержения соединиться с христианской народной массой, задыхающейся от национального гнета и бесправия» [11. 1912. 27 IX].

Однако довольно быстро выяснилось, что само по себе предоставление автономии и ее осуществление — это не панацея, что автономистские движения и автономные образования могут быть использованы соперничавшими между собой «великими державами». 8 ноября 1912 г. в передовой статье «Война за автономию» «Луч» писал: «И Россия, и Австрия прямо обожают автономию — с тем только маленьким условием, чтобы это была автономия частей [...] других стран. Почти в один день газеты принесли известия о том, что Австрия требует автономии Албании, а Россия провозгласила автономию Монголии. Австрии нужна автономия Албании чтобы закрыть Сербии дорогу к Адриатическому морю и тем по-прежнему держать ее в зависимости от себя [...] Австрия грозит Сербии войной из-за автономии Албании, а достаточно уже известно, что из-за этой "маленькой" войны каждую минуту может вспыхнуть всеевропейская война [...] Таким образом, к бочке пороха подбрасывается еще одна искра во имя [...] автономии» [11. 1912. 8 XI].

В поисках выхода меньшевики, как и большевики следовали за позицией самих социал-демократов балканских стран. 5 октября 1912 г. на первой полосе «Луча» была помещена статья его редактора Ф.И. Дана «В защиту балканских народов». Основным ее посылом было утверждение о том, что «создание единого, экономически и политически сильного государственного целого на Балканах способного зажить самостоятельной жизнью – единственный способ положить конец невыносимым страданиям и взаимному озлоблению балканских народов». Газета информировала читателей о «только что» опубликованном манифесте социалистов «всех балканских стран, и славянских, и Греции, и Румынии, и Турции», в котором говорилось, что «эта задача может быть решена лишь созданием федерации всех народов Балкан и Ближнего Востока на самой демократической основе». Авторы полагали, что «на пути к созданию такой федерации лежат лишь интересы династий и привилегированных классов балканских государств, с одной стороны, и политика великих держав, с другой» [11. 1912. 5 X]. Однако оставалось непонятным, как осуществить этот красивый проект, поскольку ни в одной из балканских стран, ни в Турции не было политических сил, способных произвести демократические преобразования или демократическую революцию. Не говоря уже о том, чтобы это сделать одновременно во всех или большинстве стран региона. Кроме того, как показал последующий опыт XX в., ни федеративное устройство, ни демократия сами по себе не могут избавить ни от межнациональных и межгосударственных противоречий, ни от агрессивного национализма.

Об этом написал еще в конце 1912 г. в меньшевистском журнале «Наша заря» не только партийный публицист, но человек, профессионально занимавшийся международными отношениями — Мих. Павлович (Волонтер) — М.Л. Вельтман. Пожалуй, его единственного — профессионального историка, ученого-востоковеда — среди авторов социал-демократического направления, писавших о проблемах внешней политики, региона Балкан и Австро-Венгрии, можно поставить рядом с Троцким.

В обширной статье «Балканская война и балканская федерация», анализируя ситуацию, сложившуюся на конец 1912 г., он писал: «Мы, конечно, не думаем, отрицать, что Сербия, например, имела законное право стремиться к Адриатическому морю, чтобы вырваться из того глухо заколоченного гроба, в котором она очутилась по вине Австрии [...] Сербия могла бы осуществить все свои жизненные задачи путем вступления в балканскую федерацию, в которую вошла бы и Турция вместе с Албанией» [13. С. 9]

Говоря о возможных последствиях событий и методов решения этнополитических и экономических проблем, М. Павлович пришел к выводу о том, что «балканская федерация будет скреплена порабощением Албании, но албанский вопрос послужит помехой мирному развитию балканских народов, явится предлогом для

развития милитаризма и вместе с тем создаст наиболее удобную почву для австрийских и итальянских интриг на полуострове. Надо надеяться, что сербские империалисты будут вынуждены отказаться от своих завоевательных планов по отношению Албании и умерят свои аппетиты». «И каков бы ни был исход войны, — заканчивал ученый, — если европейская Турция будет продолжать существовать и в руках турок останется хоть клочок территории в Европе, лозунг социалистов останется тот же, что и прежде: балканская конфедерация quand même, федерация на основе национального самоопределения всех составляющих ее народностей вместе с Турцией, а отнюдь не против нее» [13. С. 9–13] (также см. [11. 1912. 10 X; 3 XI].

Позднее, уже в самый разгар Первой мировой войн меньшевик А.Н. Потресов в сборнике «Война и вопросы международного демократического сознания» писал, анализируя прошлое: «События на балканском полуострове в конце прошлого и начале настоящего десятилетия заставили даже Второй интернационал рабочего класса, при всей его неприспособленности к такого рода политике, выступить с провозглашением идеи Балканской федерации (включающей и Турцию), т.е. идеи создания новой государственной формации, как единственного метода разрешения тех противоречий, которые раздирают и друг на друга натравливают балканские народы, и как единственного средства обезопасить эти народы — созданием крупной единицы — от колонизационного натиска всевозможных держав» [14. С. 69].

Однако этнополитические процессы, происходящие на Балканах представлялись некоторым авторам «Луча» в весьма странном свете. Зачастую они попадали впросак используя метод упрощенных сравнений. Примером этого может служить помещенная 26 октября 1912 г. на первой полосе «Луча» статья «Балканский вопрос». Ее автор (к сожалению, статья без подписи, судя по особенностям лексики, это мог быть Ф. Дан) утверждал что «на Балканах на наших глазах происходит возникновение мощной государственной единицы, и только возрожденная Турция могла бы стать равноправной участницей этого процесса. Турция, не разделавшаяся начисто с азиатчиной, может, как показывает действительность, быть лишь его жертвой». Однако затем следовало сравнение Балканского союза с Германской империей: «То, что теперь происходит на Балканах, напоминает процесс возникновения германской империи! Незавершенность немецкой революции 1848 года и давление соседних держав было причиной того, что объединение Германии не могло состояться на демократической основе. Оно возникло на основе милитаристско-династической после войны 1870 г. Политика "великих" держав является главной виновницей того, что и возникновение экономически и политически сильного единого государственного организма на Балканах. Совершается, по-видимому. германским, бисмарковским путем, путем "крови и железа". Вместо федеративной республики, которой добивались передовые слои балканских народностей, на Балканах грозит возникнуть новая империя на подобие Германской, в которой Болгария будет играть такую же роль гегемона, какую в Германии играет Пруссия» [11. 1912. 26 X].

Однако автор в своем сугубо формальном сопоставлении не видел различия между образованием в основном моноэтничной Германской империи с союзом государств, причем государств разных национальностей на Балканах. Он не хотел видеть, что ни Греция, ни Сербия, ни Черногория, ни Болгария в 1912—1913 гг. не объединились бы в единое государство, под единой короной ни в централизованно-монархической, ни в федеративно-республиканской форме. Это противоречило содержанию процесса национального самоопределения и ни одна нация, ни один «народ», ни один «пролетариат» не согласился бы на это.

7 ноября 1912 г. «Луч» продолжил свои исторические изыскания. На этот раз статья была подписана Ф.Д. – Ф. Даном. «Исторические силы всегда находят себе

выход, и если прямой и простой путь закрыт, они идут обходным и уродливым путем. Миллионы балканского населения не хотели и не могли оставаться вечно лишь игрушкой в чужих своекорыстных руках. Потребность самостоятельного государственного существования, свободного экономического и культурного развития давала себя знать все настоятельнее». Путь народной революции и федеративной республики «оказался невозможным – тоже главным образом по вине "великих" держав». Однако Дан не видел того, что разделенными на несколько государств Балканы оказались бы в любом случае, поскольку там проживало множество разных народов, каждый из которых стремился к своей государственности и «великие державы» играли в процессе этнополитического структурирования региона важную, но не единственную и не всегда главную роль. Упрощенно понимая роль внешнего фактора – великих держав, Дан затем отдал должное еще одному упрощенно трактуемому марксистскому тезису – о том, что экономическое развитие «рано или поздно преодолело бы все эти препятствия». И сделал совсем уж фантастический вывод: «Балканские монархи решили предупредить этот момент, когда стало бы возможным революционное и мирное решение балканского вопроса. Они воспользовались благоприятной минутой, чтобы решить его не в интересах народных масс, а в своих династических интересах, в интересах сохранения и укрепления своих престолов. Мирному революционному решению они противопоставили свое решение "кровью и железом", войну» [11. 1912. 7 XI].

Один из самых известных и влиятельных меньшевиков, идеолог партии Ю. Мартов в октябре 1912 г. во второй передовой статье – «Война и австрийские социалисты» – проанализировал «австрийский аспект» Первой балканской войны. Прежде всего, он обратил внимание на то, что «изобличая происки Австрии, наши "патриоты" стараются вызвать слепую ненависть русского народа к "австрияку" – австрийскому народу, большинство которого состоит из рабочего класса (о том, что в данном случае австрияки – это не только австрийские немцы, но и венгры, хорваты, словенцы, чехи, словаки, поляки и даже сербы автор не упомянул. – С.Р.). А в это самое время представители австрийского рабочего класса развивают самую энергичную агитацию против войны. С[оциал-]д[емократические] депутаты австрийского парламента внесли запрос о внешней политике правительства, в котором с замечательной ясностью и определенностью высказываются о так называемых австрийских интересах, во имя которых накликают войну австрийские патриоты [...] В своем запросе австрийские с[оциал-]д[емократы] доказывают, что австрийские претензии на санджак не оправдываются решительно ничем [...] Стремление к Салоникам с[оциал-]д[емократы] называют фантастической утопией», поэтому «пусть Австрия предоставит балканским народам самим заботиться о своей судьбе» [11. 1912. 10 X].

Проанализировал Ю. Мартов и возможные итоги Первой балканской войны. В статье «Развязка близка!» он с тревогой писал, что «именно момент окончания Балканской войны, как это и предвиделось, будет самым критическим для всеевропеского мира [...] Дипломаты удвоили свои старания по охранению мира: это значит утроились шансы острого столкновения между "великими державами". Ибо конец балканской войны — начало раздела добычи, при котором ни один хищник не хочет остаться обойденным».

Он обратил внимание на одно немаловажное обстоятельство для понимания генезиса начавшейся через полтора года Первой мировой войны: «Патриотическими криками русских либеральных и реакционных газет пользуются для того, чтобы подорвать влияние энергичной пропаганды австрийской и международной социал-демократии против войны. Если кончится тем, что Австрия набросится на Сербию, что социал-демократия не сможет помешать этому, то часть ответственности будет падать на либералов и нововременцев, которые от имени России, от имени русского народа дают австрийским шовинистам горючий материал для раз-

жигаемого ими костра» [11. 1912. 3 XI]. (Однако не только Австрия «разжигала» тот костер!)

Спустя полгода, когда Вторая балканская война уже близилась к концу, автор передовой статьи в «Луче» «Австрия и Россия на Балканском полуострове», сравнивая направленность и результаты внешней политики двух государств в регионе, писал: «Империалистские планы России натолкнулись на империализм Австрии. И там есть люди, и их немало, которые точь в точь, как г. Милюков умеют говорить хорошие слова — "свобода", "независимость", и понимать под этим сохранение преобладающего влияния Австрии на Балканах. И надо сказать правду, австрийская дипломатия до сих пор оказывалась победительницей. Происходило это по той простой причине, что она сумела разгадать направление политики главнейших европейских государств» [11. 1913. 13 VI].

О балканских проблемах также писали В.И. Ленин, И.В. Сталин, другие видные большевики, но их работы очень детально изучены в историографии (см., например [15. С. 27; 16].

Сами по себе эти материалы интересны не только, как исторический материал. Полемика 1910-х годов на пожелтевших и обветшавших газетных, журнальных и книжных страницах важна и интересна тем, что именно тогда были заложены мировоззренческие и концептуальные, идеологические и геополитические, теоретические и практические основы внешней политики грядущего Советского государства и политики Коминтерна в Центральной Европе и на Балканах, которые проявились как в 20–30-е, так и в 40–80-е годы XX в.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Сборник программ политических партий в России. СПб., 1905–1906. Вып. 1-6.
- 2. Василевский Л.М. Австро-Венгрия. Политический строй и национальный вопрос. СПб., 1906; Витте Е. де Австро-Венгрия и ее славянские народы. Шамордино, 1912; Кулаковский П.А. Иллиризм. Варшава, 1894. Погодин А.Л. Славянский мир. Политическое и экономическое положение славянских народов перед войной 1914 года. М., 1915; Пыпин А.Н. Панславизм в прошлом и настоящем. М., 2002; Филиппов М.М. Хорваты и борьба их с Австрией. Пг., 1890.
- 3. Чернов В. Из практики социалистического движения в Венгрии и Италии. М., 1905.
- 4. Левицкий В. Политическое движение в Венгрии. Наша заря. 1912. № 6.
- 5. Нюркаева А.З. Балканы во взглядах Л.Д. Троцкого. Пермь, 1994.
- 6. Троцкий Л. Сочинения. М.;Л., 1926. Т. VI. Балканы и балканская война.
- 7. *Ненашева З.С.* Идейно-политическая борьба в Чехии и Словакии в начале XX в. Чехи, словаки и неославизм 1898–1914. М., 1984; *Романенко С.А.* Югославяне Австро-Венгрии, неославизм и Россия // Historical Review. София, 1996. № 3.
- 8. Istorijski arhiv komunističke partije Jugoslavije. Beograd, 1951. Tom IV. Socijalistički pokret u Hrvatskoj I Slavoniji, Dalmaciji i Istri.1892–1919. Beograd, 1950.
- Zgodovinski arhiv komunističke partije Jugoslavije. Beograd, 1951. Tom V. Socijalističko gibanje v Sloveniji. 1869–1920.
- 10. Правда (Вена). 1909. 21 XI (4 XII).
- 11. Луч.
- 12. Правда (СПб.). 1913. 10 V.
- 13. *Мих. Павлович (Волонтер)*. Балканская война и балканская федерация // Наша заря. 1912. № 11–12.
- 14. *Потресов А.Н.* Война и вопросы международного демократического сознания. Пг., 1916. Вып. 1.
- 15. Романенко С.А. Югославия, Россия и «славянская идея». М., 2002.
- 16. Ленин В.И. Полн. собр. соч.; История внешней политики России. Конец XIX начало XX века. М., 1999; Сталин И.В. Сочинения. М., 1946. Т. 2. 1907—1913; Дебаты по национальному вопросу на Брюннском партайтаге. Киев, 1906; Синоптикус. Государство и нация. СПб., 1906; Формы национального движения в современных государствах. СПб., 1910. Т. І–ІІ; Романенко С.А. Югославянский вопрос во взглядах социал-демократов Австро-Венгрии // Нации и национальный вопрос в странах Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX начале XX века. М., 1991; Чуркина И.В. Программы культурно-национальной автономии: создание и варианты // Вопросы истории. 1999. № 4–5; Redžić E. Austromarksizam і jugoslavensko pitanje. Веодгад, 1977; Панин М. Переписка Маркса и Энгельса // Наша заря. 1914. № 3.



© 2011 г. Н.Ю. ЗАБЕЛИНА

СЕРБЫ ГЛАЗАМИ БРИТАНЦЕВ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В статье описывается процесс формирования нового образа Сербии и сербов в британском обществе в годы Первой мировой войны главным образом благодаря письмам и заметкам англичан, сотрудников гуманитарных миссий и офицеров.

The article deals with forming of a new image of Serbia and the Serbs in British society during World War I. The author considers primarily the letters and notes of English military officers and officials of humanitarian missions.

Ключевые слова: Первая мировая война, Сербия, Великобритания, сербы, британцы, восприятие

События 1914—1918 гг. явились важной вехой в формировании исторической памяти многих наций, в том числе и британской. Привычные представления о некоторых народах подверглись существенному пересмотру. В ходе Первой мировой войны заставили британское общество говорить о себе сербы. Увидел свет ряд источников личного характера (дневников, путевых заметок, мемуаров), написанных британскими очевидцами и участниками военных действий на Балканах. Некоторые из этих источников более известны (например, книги Ф. Сандес, Э. и К. Эскью), другие мало знакомы даже в Англии (сочинения К. Мэтьюз, С. Ливингстон). Авторы стремились поделиться опытом с соотечественниками, а также рассказать о сербах, вместе с которыми англичане сражались против общего врага. Эти источники послужили основой данной статьи, цель которой — проследить складывание у британцев образа сербского народа в годы Первой мировой войны.

В начале XX в. среднестатистический англичанин едва ли знал что-либо о Сербии, а если и слышал или читал что-то, то вряд ли это могло вызвать у него одобрение. Из всех стран, освободившихся от турецкого господства, Сербия в глазах жителя Великобритании имела наихудшую репутацию. В сознании большинства эта страна ассоциировалась с жестоким убийством группой офицеров монаршей четы Обреновичей, произошедшим весной 1903 г. [1. S. 359]. Новый король Петр из династии Карагеоргиевичей (1844—1921) некоторое время не признавался Великобританией. Только в 1906 г., когда организаторы заговора ушли в отставку, английский посланник вернулся в Белград [2. S. 88].

Что касается других стран, то, например, консервативная печать России комментировала убийство короля и королевы Сербии следующим образом: в чистые нравы славян за время турецкого ига «проникли баши-бузукские черты, просыпающиеся по временам» [3. С. 66]. В свою очередь, австрийская и немецкая пе-

Забелина Наталия Юрьевна – научный сотрудник Государственного исторического музея.



чать накануне войны изображала сербов исключительно как варваров и садистов [4. S. 45]. «Ужасное преступление легло тенью на репутацию Сербии», — писал британский современник событий историк Р. Сетон-Уотсон [5. S. 12]. Меньше всего простой англичанин желал бы, чтобы его страна оказалась связанной с подобным государством союзными обязательствами и «жертвовала бы миллионами жизней своих граждан во благо Сербии» [1. S. 360]. «Когда началась война, большинство англичан воспринимали сербов как орду балканских варваров. Знания об этой стране ограничивались леденящей кровь историей об убийстве королевской четы весной 1903 г.», — писал один из участников Балканской кампании британской армии [6. S. 231]. «До начала войны для англичан это было всего лишь название страны, притом вызывающее не самые приятные ассоциации, так как мы стали свидетелями худших страниц истории Сербии. А плохое, как известно, легче запоминается», — подтверждал его слова В. Чирол, британский журналист и дипломат [7. S. 1].

Сами сербы были осведомлены о своей сомнительной славе. Так, авторы развлекательных романов супруги Эскью, побывавшие в Сербии во время войны, вспоминали о своих встречах с сербами, которые говорили им: «Вы думаете, что мы нация головорезов и бандитов» [8. S. 2]. Э. и К. Эскью не могли отрицать, что многие их соотечественники придерживались подобного мнения и отговаривали супругов от поездки на Балканы. Они же надеялись, что их книга об этой поездке поможет британцам преодолеть предрассудки.

В сравнении даже с далекой Россией, где население якобы носит меховые шапки зимой и летом, Сербия казалась страной еще более неизведанной, с жителями, похожими на турок. Однако с началом войны все изменилось. Заработала мощная пропагандистская машина. Если разыгрывать бельгийскую карту против Германии пропагандистам было легко, то в случае с Сербией пришлось приложить больше усилий. При этом схема и механизм конструирования образа страны — жертвы милитаризма были очень схожи. Сербия должна была стать неким экзотическим вариантом европейской Бельгии. Ее так и называли — Бельгия Востока [5. S. 5].

В первое время создание мученического образа шло по отработанному и действенному сценарию. Как и в случае с Бельгией, в английском обществе говорили о «нашем маленьком союзнике», «маленькой отважной Сербии» [9. S. 3]. Английская пропаганда, направленная на поддержку Сербии, была призвана обличать в первую очередь Австро-Венгрию. Россия, в свою очередь, преподносилась как такая же, как и Англия, защитница малых народов Европы. Британская пресса писала, что если Англия отвечала за безопасность Бельгии, то Россия — православной Сербии.

Большим влиянием пользовался бывший до 1913 г. венским корреспондентом «Тhe Times» Г. Уикхем Стид. Еще до войны он неоднократно выступал за объединение южных славян, с началом войны соединил усилия со своим единомышленником Р. Сетоном-Уотсоном, который также в течение ряда лет писал памфлеты о будущем разделе Австро-Венгрии. Более того, Уикхем Стид и Сетон-Уотсон объявили, что они единственные в Англии, кто разбирается в балканском вопросе и в 1918 г., как знатоки проблемы, стали руководителями австро-венгерской секции в Департаменте пропаганды во враждебных странах. Ранее, осенью 1916 г., они вместе с лидером чешского национального движения Т. Масариком основали журнал «The New Europe», с помощью которого надеялись оказывать влияние на британское общество [10. S. 38–39].

Англичане, состоявшие в Обществе Красного Креста, писали памфлеты и брошюры, чтобы привлечь внимание своих соотечественников к сербской проблеме. Задняя обложка подобных брошюр, ценой примерно в 1 пенни, представляла собой анкету. Любой желающий мог заполнить ее и, приложив чек, отправить в Фонд помощи Сербии. Банковский счет организации, на котором изначально ле-

жали несколько тысяч фунтов, пополнялся благодаря пожертвованиям [11. S. 239]. Фонд, основанный в сентябре 1914 г., находился под патронажем королевы, в него входили такие влиятельные в Великобритании персоны, как О. Чемберлен, Д. Ллойд Джордж, Г. Асквит, У. Черчилль. Р. Сетон-Уотсон стал почетным секретарем Фонда и одним из самых активных его деятелей. Фонд помощи Сербии сотрудничал с Красным Крестом и американским Фондом Рокфеллера в разработке плана по санитарно-эпидемиологической защите Сербии [5. S. 32].

Несмотря на часто снисходительный тон британских пропагандистов и некоторых общественных деятелей (к таковым можно отнести, например, Т. Липтона, чайного магната и автора пропагандистских брошюр), им удалось отодвинуть историю с убийством Обреновичей на второй план. «Бельгия не единственная маленькая страна, подвергшаяся нападению в этой войне. История Сербии не без пятен. Но история какой из наций не имеет пятен. Первая нация, которая без греха, пусть бросит в Сербию камень. Эта нация прошла страшную школу, но она упорной энергией завоевала свою свободу, которую сохранила благодаря своему мужеству», — заявил министр финансов Д. Ллойд Джордж в одной из своих речей в сентябре 1914 г. [12. С. 15]. В. Чирол полагал, что Сербия искупила ошибки (имелось в виду убийство монаршей четы) кровью своих сыновей, сражающихся с «австрийским Голиафом» [7. S. 18]. Сербам давали понять, что совершенное ими преступление не забыто, хотя в Великобритании больше не принято было говорить о нем открытым текстом.

Одной из задач власти было убедить сограждан, что они должны воевать не за Сербию или во имя ее блага, что сражаться вместе с Сербией против общего врага не зазорно для британцев. К тому же, британцев и сербов объединяла одна цель — борьба за свободное будущее Европы. Сербия изображалась «стражем у восточных ворот», не позволяющим Центральным державам продвигаться на восток, защищая тем самым британские интересы на Востоке [13. S. 36]. Премьер-министр Великобритании Г. Асквит подчеркивал священность международного права, и прежде всего — права маленьких государств. Два из них — Бельгия и Сербия — оказались вовлеченными в войну с самого ее начала.

28 июля 1914 г. Австро-Венгрия объявила Сербии войну. Военные действия, развернувшиеся на территории самой плодородной части Сербии, губительно сказались на экономике страны. «Сербия, имеющая крестьянское население, равное населению Ирландии, ведущая уже третью войну в течение двух лет¹, ведет ее с большим запасом мужества и настойчивости, но без всякого запаса средств», – говорил во время своего выступления в Палате общин Д. Ллойд Джордж [12. С. 76–77]. Российский посланник в Белграде князь Г.Н.Трубецкой сообщал: «Переутомление физическое и нравственное после четырех месяцев непрерывной бессмысленной борьбы овладело сербскими войсками до такой степени, что в середине ноября катастрофа казалась неизбежной» [14. С. 521].

За годы войны Сербия потеряла более полумиллиона человек [15. С. 631]. Колоссальные людские потери, понесенные страной, иллюстрирует пример, приведенный военным врачом Артуром Алпортом в мемуарах. Он сообщал об одиннадцати братьях-сербах, отправившихся в 1914 г. на войну. К 1917 г. в живых оставался лишь один [16. S. 170]. Во время войны население Белграда сократилось в пять раз [17. S. 31].

У стран Антанты была возможность воспрепятствовать тому, что это балканское государство было буквально сметено армиями противников. Осенью 1915 г., зная о готовящемся наступлении государств Центральной коалиции, сербское ру-

¹ Первая балканская война (октябрь 1912 г. – май 1913 г.) велась Сербией совместно с Болгарией, Грецией и Черногорией против Османской империи. Вторая балканская война (29 июня − 29 июля 1913 г.) велась Болгарией, с одной стороны, и Румынией, Сербией, Черногорией, Грецией и Османской империей за пересмотр итогов Первой балканской войны.



ководство неоднократно обращалось к союзникам с просьбой прислать войска для совместных действий. Но лидеры Англии и Франции не спешили отправлять своих соотечественников умирать на далекие Балканы, сомневаясь в целесообразности подобных затрат [18. С. 134–135]. Британская дипломатия при обсуждении балканских вопросов в лагере союзников занимала сдержанную позицию, так как ее руководители за небольшими исключениями недооценивали роль и место Балканского полуострова в стратегии скорейшего и победоносного окончания войны [19].

Осенью 1915 г. на Сербию двинулись немцы, австрийцы и болгары. Не выдержав такого натиска, сербская армия была разбита. Высокопоставленный чиновник Красного Креста американец Г. Фолкс назвал Сербию «парализованной страной»: университет, школы и банки закрыты, магазины пусты, нет топлива и транспорта, на улице не встретишь детей до трех лет и мужчин в возрасте от 18 до 50 [17. S. 28]. С большим размахом действовали спекулянты на «черном рынке» [20. С. 146]. Население жестоко страдало от туберкулеза. Страна пережила все возможные невзгоды. Многие сербы были депортированы в Болгарию, меньшее число – в Австрию. Г. Фолкс, говоря о числе депортированных, приводит цифры 50–80 тыс. человек [17. S. 44–50]. «Сербское отступление стало одной из самых чудовищных катастроф войны. Страдания, как физические, так и душевные, которые пережили сербы во время отступления через Албанию, трудно описать», – вспоминал очевидец событий А. Алпорт [16. S. 144].

Центральные державы планировали полный военный разгром Сербии [21. С. 189]. Антанта, имевшая в районе Дарданелл более чем шестисоттысячное войско, не перебросила войска в Салоники для отправки в Сербию, хотя Галлиполийская операция давно была лишена перспектив. Английские войска стали прибывать в Сербию только в конце октября 1915 г. и участвовали в незначительных операциях. Уже 11 ноября начался отвод Экспедиционного корпуса к греческой границе. Руководство Англии и Франции решило, что Сербию уже ничто не спасет [18. С. 135]. «Никто не станет отрицать, что в ходе идущей войны были допущены ошибки», – писал ветеран английской журналистики г. Гордон-Смит о безучастности, проявленной лидерами Антанты к судьбе Сербии [11. S. X].

В Сербии, как и в Бельгии, работали комиссии по расследованию преступлений оккупантов по отношению к местным жителям. «Зверства, практикуемые немецкой армией в Бельгии, имели место и в занятой австрийскими войсками Сербии [...] «очаровательные австрийцы», а также «гордый и учтивый венгерский народ» имел сомнительную честь превзойти в жестокости, если такое возможно, своих прусских друзей», - так оценивал ситауцию руководитель комиссии, доктор криминалистики из Швейцарии А. Райсс [22. S. V]. Он прибыл по приглашению сербского правительства как представитель нейтральной страны. Участники расследования опрашивали свидетелей, в том числе австрийских пленных и жителей городов, подвергшихся бомбардировкам, эксгумировали трупы убитых, осматривали раненых. Райсс подчеркивал, что Сербия неоднократно выражала возмущение поведением оккупантов, однако это недовольство часто воспринималось скептически, особенно в нейтральных странах [4. S. 3-4]. Другой швейцарец, В. Куне, написал книгу «Отрицающим мученичество. Югославяне и война» [23], надеясь просветить тех, кто не знает о бедах сербского народа [24. S. 355]. Надо заметить, что рассказы об ужасах, творимых немецкими оккупантами в Бельгии, принимались на веру гораздо быстрее как англичанами, так и гражданами нейтральных стран.

Ряд представителей английской общественности агитировал за активную помощь сербам. Инициатором этой кампании стал Р. Сетон-Уотсон. Призыв нашел отклик, в том числе и среди женщин. «Организация миссий в Сербию стала считаться вопросом престижа, продажа и покупка сербских флагов — делом чести,

приобретение одежды для сербских солдат — особым шиком», — писала современница событий С. Ливингстон [25. S. 165]. Фонд помощи Сербии отправил несколько медицинских отрядов [11. S. 239]. К одному из них были прикреплены супруги Эскью. Они ехали как литераторы, но при необходимости были готовы оказать помощь в работе госпиталя. Перед поездкой они провели организационную работу по формированию отряда и поиску средств. В качестве причин, побудивших их поехать на фронт, семья Эскью называла впечатление от рассказов о подвигах и бедствиях сербского народа зимой 1914—1915 гг. [8. S. 22].

На Балканы отправились врачи, медсестры, журналисты, искатели приключений. Многие были готовы поехать за собственный счет. Другие просили лишь об оплате поездки, но работать готовы были на безвозмездной основе [9. S. 11]. Так Сербия перестала восприниматься как далекая непонятная страна с дурной репутацией. О ней говорили, писали, слагали песни. Теперь ее мог показать на карте любой ребенок [25. S. 164]. Реальные бедствия, а также отчаянная и героическая борьба сербов заставили британцев воспринимать своих союзников более серьезно [9. S. 4]. Сербия обрела постоянные характеристики, которые отныне ассоциировались только с ней [2. S. 132].

Очевидцы событий — авторы источников — неплохо разбирались в национальных вопросах Центральной и Юго-Восточной Европы, стараясь просветить также и своих соотечественников, многие из которых, подобно Д. Ллойд Джорджу, вряд ли различали словаков и словенцев [26. S. 101]. Они касались таких тем, как этногенез и история сербского народа, борьба южных славян за свободу и объединение. Говоря об этой борьбе, Р. Сетон-Уотсон правомерно полагал, что она значительно менее известна простому читателю, чем итальянское Рисорджименто [5. S. 31]. К. Мэтьюз сообщала, что тысячи чехов — подданных Австро-Венгрии — отказывались стрелять в сербов, своих славянских братьев по крови, и были расстреляны немецкоязычными носителями Kultur, предпочтя «смерть бесчестью» [27. S. 26].

В сербской армии свирепствовали малярия, тиф и дизентерия. К. Мэтьюз случалось наблюдать, как офицеры дезинфицировали хлеб горящим спиртом. [27. S. 24–28]. Страна, покрытая свежими могилами, являла собой печальную картину. В каждом населенном пункте очевидцам постоянно приходилось видеть похоронные процессии, которые несли запечатанные гробы с жертвами эпидемии [25. S. 115]. Люди умирали на дорогах и улицах городов. Потрясенные очевидцы сравнивали увиденное со средневековыми эпидемиями чумы [11. S. 9]. Для медицинского персонала госпиталей риск заразиться тифом или холерой был очень высок, и многие британские врачи и медсестры не вернулись домой. Условия работы были непростыми: из-за свирепствовавших эпидемий приходилось лечить также местное гражданское население [11. S. 241].

Раненые и местное население Сербии ценили помощь иностранцев и по возможности помогали им, а в случае кончины достойно хоронили. Так, например, похороны юной британской медсестры, работавшей при миссии Красного Креста и скончавшейся во время эпидемии, превратились в траурное шествие, в котором участвовало огромное количество местных жителей и сотрудников иностранных миссий. Гроб девушки был покрыт тремя флагами — сербским, российским и британским. В мероприятии приняли участие посланники этих государств [25. S. 126–127].

Британские и французские добровольческие медицинские части делали все возможное для борьбы с инфекционными болезнями. «Если бы военные власти Франции и Великобритании обладали такими же умом и дальновидностью, как и штатские доктора, и поддерживали бы сербов, история войны могла быть совершенно иной, но они не видели дальше собственных носов, т.е. Западного фронта. Таково было мнение наших политиков и генералов, если оно вообще у них име-

лось на этот счет. Так что армии противников имели достаточно времени между январем и сентябрем 1915 г., чтобы подготовить большой прорыв, нацеленный на полное сокрушение Сербии», – возмущался А. Алпорт [16. S. 143–144].

Среди тех, кто откликнулся на призыв Сербии о помощи, особо стоит отметить Флору Сандес. Дочь викария ирландского происхождения стала первой в Сербии женщиной-офицером. Служба британской подданной Ф. Сандес в сербской армии представляет собой уникальный случай. Бесстрашно сражаясь наравне с мужчинами, она дослужилась до капитана. Более того, в 1916 г. за свою храбрость она награждена «Звездой Карагеоргия».

Одна медсестра-шотландка описала в дневнике свою встречу с Ф. Сандес на фронте следующим образом: «Она долго рассказывала, в каких яростных сражениях ей и ее товарищам пришлось участвовать. Мы испытали чувство гордости за нее» [28. S. 120].

А. Алпорт встретился с Ф. Сандес в конце 1916 г. В тот момент она лечилась в англо-сербском госпитале после ранения. Сербские солдаты воспринимали ее в качестве современной Жанны д'Арк и не колебались, когда она вела их за собой. Алпорт как-то спросил одного сербского полковника, кто является самым храбрым бойцом сербской армии, и тот ответил: «Флора Сандес». Автор очень хотел познакомиться с ней, ожидая увидеть настоящую амазонку. Каково же было его изумление, когда легендарная воительница оказалась «миловидной женщиной средних лет, с короткими седыми волосами и приятным голосом» [16. S. 145—146]. Заслуги Ф. Сандес были высоко оценены и сербскими современниками. [29. S. VIII].

Удивительно, но до недавнего времени ее имя было мало знакомо жителям Туманного Альбиона. Но практически забытая на родине Ф. Сандес осталась в памяти сербского народа. Так, ей посвящен телевизионный фильм 1997 г. с говорящим названием «Naša engleskinja» («Наша англичанка»). Интерес к личности Ф. Сандес возродился после того, как была опубликована книга К. Эйди «Камуфляж вместо корсета», посвященная женщинам-солдатам [30]. Автор книги—военная журналистка, в 1990 г. освещавшая войну на Балканах. К. Эйди впервые услышала имя Ф. Сандес от сербского переводчика.

Наблюдая за сербами в непосредственной близи, Ф. Сандес восхищалась многими присущими им качествами. Соотечественники задавали ей вопросы о том, не было ли ей страшно одной среди орды головорезов. У Ф. Сандес подобные вопросы вызывали лишь недоумение. «Я не могу себе представить, — писала она, — чтобы сербский солдат мог как-либо обидеть меня. Гуляя ночью по сербской деревне, я чувствую себя в большей безопасности, чем в темное время суток в большинстве городов Англии или континентальной Европы» [29. S. 123].

В качестве весомого аргумента для развенчания мифа о жестокости сербов авторы использовали наглядные примеры отношения сербов к пленным. Австрийские пленные, по словам британцев, чувствовали себя достаточно свободно. Их видели загорающими, пьющими кофе, сидящими в парках. Более того, лица сербского происхождения имели право носить гражданскую одежду [25. S. 125]. Пленные получали такой же паек и жили в схожих с сербскими солдатами условиях. Каждый был вправе рассчитывать на солому для подстилки, тарелку супа и ломоть черного хлеба [27. S. 26–27]. Офицеры жили во вполне приличных условиях, многое делалось для их удобства. Некоторые пленные, с медицинским образованием, на добровольных началах работали в госпиталях бок о бок с французами, англичанами, русскими и сербами. Во время эпидемии тифа пленным и собственным солдатам оказывалась одинаковая помощь. Пленные также были заняты на железнодорожных работах, выполняли обязанности дворников, официантов в отелях и могильщиков. Но работы на всех не хватало, и кое-кому приходилось слоняться без дела, тщетно подыскивая себе занятие [25. S. 128–130]. Многие по-

павшие в плен к сербам утверждали, что офицеры призывали их не сдаваться, так как, по их словам, сербы непременно зверски убьют всех угодивших к ним в руки. Солдат учили, что в случае окружения лучше застрелиться [4. S. 45]. К. Мэтьюз отмечала, что чехи, попавшие в сербский плен, были довольны и не жаловались на условия содержания несмотря на скудное питание [27. S. 26]. В госпиталях, где сербские солдаты лежали рядом с пленными из австрийской армии, между ними существовало «удивительное братство». Они оказывали друг другу посильную помощь и поддерживали покалеченных во время прогулок [25. S. 130]².

Любопытны наблюдения британцев за взаимоотношениями офицеров сербской армии со своими денщиками. Денщики, по их словам, относятся к своим офицерам, как к собственным детям, и присматривают за ними, в каком бы состоянии те ни были – трезвые или не очень. «Сербы привыкли пить очень много, при этом они никогда не теряют работоспособности», – подмечал А. Алпорт [16. S. 151]. С. Ливингстон назвала подобные взаимоотношения «странными». В своей книге она рассказала об офицере, который поколотил солдата за то, что тот потерял дорогого породистого щенка. «Но я уверена, – писала она, – что тот солдат любил своего офицера и положил бы жизнь за него». Денщик не затаил злобы, наоборот, он старался угодить офицеру, украсив его дом цветами [25. S. 179]. «Жестокость совершенно чужда их природе», – писала Ф. Сандес, не понаслышке знакомая с сербским населением. Она стремилась развеять уверенность своих соотечественников в том, что в Сербии часто прибегают к жестоким наказаниям. Когда несколько энтузиастов-англичан решили создать общество «Против жестокого обращения с животными», то сербы выразили недоумение, так как это было не в их традициях [29. S. 40–41]. О хорошем отношении к животным свидетельствовали и другие авторы.

В сербской армии в целях дисциплины могло применяться палочное наказание. «На нашем собственном флоте порка была отменена сравнительно недавно, и я думаю, что сербская армия скоро последует этому примеру», – полагала Ф. Сандес. Наиболее популярные среди солдат офицеры всегда были готовы применить наказание. При этом солдаты их обожали [29. S. 42]. Р. Сетон-Уотсон, побывавший в Сербии накануне Первой мировой войны, также отмечал хорошие взаимоотношения между солдатами и офицерами, говоря о «прекрасном сочетании дисциплины и духа товарищества». Историк стремился сформировать у своих соотечественников мнение, что сербы – вовсе не забитые и привыкшие к тирании люди, а сербская армия по духу совершенно демократична «в самом лучшем понимании этого слова» [5. S. 12–13].

Все авторы-британцы единодушны в оценке боевых качеств сербской армии. Отмечалась покорность солдат и их восприимчивость к армейской дисциплине [11. S. 23]. «Сербский солдат – совершенный продукт нации, чьи боевые качества вошли в поговорку», – сообщал Л. Черч. Но даже у совершенного солдата была возможность для развития за счет новейших средств вооружения и подготовки [2. S. 117].

Сохраняя в описании сербских офицеров экзотический колорит, британцы признавали, что представители верхушки сербского общества были хорошо образованы и воспитаны. Это подтверждала и легендарная воительница Ф. Сандес. По ее словам, к ней относились с уважением как солдаты, так и офицеры, что и делало возможной ее службу. По мнению А. Алпорта, они были джентльменами. [16. S. 138]. Он, одновременно преследуя две цели – критику союзников-французов и восхваления сербов, писал: «Французские офицеры свысока смотрели на сербов, считая себя стоящими на более высокой степени культурного и общего развития. На самом деле, сравнивать было нечего. Серб как солдат не имеет рав-

² Подобное отношение к пленным описывали также англичане, находившиеся во время Первой мировой войны в России (см., например [31]).



ных в мире. В культурном смысле, а также как патриот и джентльмен, он стоит рядом с нами. А комплимент это ему или нам, зависит от точки зрения. Без сомнения, он убежденный патриот» [16. S. 137–138]. В книге Алпорта чувствуется радикализм автора. Некоторые выводы о культурном равенстве серба и англичанина показались бы большинству его современников поспешными и необоснованными. Алпорт, общаясь в основном с образованными офицерами, переносил их качества на народ в целом. Л. Черч, например, не спешил проводить подобные параллели между сербами и своими согражданами, отмечая, что эта сербская крестьянская цивилизация — отсталая, полная пережитков и косности [2. S. 107]. Однако тезис Алпорта о безграничной любви сербов к отечеству вряд ли кто стал бы оспаривать.

Пламенный патриотизм как яркую черту сербского народа отмечали все побывавшие на Балканском фронте британцы. «Их сверхъестественная отвага, преданность своему народу, своим идеалам почти пятьсот лет подвергались испытанию», — отмечала К. Мэтьюз [27. S. 40]. По мнению Г. Гордона-Смита, в армиях, состоящих преимущественно из крестьян, двойной патриотизм — национальный и локальный [11. S. 22]. «"Старина серб», — таков был вердикт Томми, а когда нужно оценить человека, Томми Аткинс редко ошибается» — это уже слова Д. Уолша [6. S. 231]. Чтобы получить от британца Томми столь высокую оценку, необходимо было действительно обладать выдающимися качествами.

Фигурой, которая символизировала доблесть сербской армии, находящейся в трудном положении, британские очевидцы считали воеводу (маршала) Радомира Путника (1847–1917). Сербский военачальник произвел на них сильное впечатление своей непростой судьбой, длительной карьерой, а также влиянием, которое он оказывал на солдат.

В период Первой мировой войны на самых высоких политических и государственных должностях в Сербии по большей части были люди, чьим единственным пропуском в высшие круги было их образование [32. С. 78]. Многие сербские политики и руководители были по профессии инженерами и учителями. Еще в XIX в. иностранные наблюдатели отмечали присущую сербскому обществу эгалитарность: отсутствие дворянства, всего несколько крупных землевладений, относительно равномерное распределение земли. Такой порядок способствовал тому, что в стране не было заметного социального расслоения [33. С. 18–21].

Р. Сетон-Уотсон в памфлете «Моральная сила серба», знакомящем жителей Великобритании с Сербией и ее народом, подчеркивал, что демократические традиции происходят от отсутствия аристократии. Автор отмечал, что даже две соперничающие королевские династии берут свое начало в крестьянской среде [5. S. 19]. Таким образом, граждане страны, аристократия которой стала в мире эталоном, должны были проникнуться симпатией к людям, среди которых вообще не было аристократов. Предполагался образ сербов, в прошлом страдавших от турецкой тирании, но благодаря сохранившимся традициям и духу демократии свергнувших угнетателей. Сетон-Уотсон подчеркивал ту роль, которую сыграло освободительное движение в Греции и Италии в формировании самосознания сербов [5. S. 30–31].

Для британцев сербы являли собой причудливую смесь славянского и восточного элементов, «примитивной простоты и сложности современного человека», что находило отражение в национальных традициях [2. S. 97]. Колоритной чертой сербов казалась их приверженность народной магии и вера в различные предания. Использование приворотного зелья и волшебных трав, пантеон различных мифологических существ с четкими функциями у каждого как элементы повседневной жизни вызывали у наблюдателей параллели с собственной историей, временами Тюдоров и Стюартов [2. S. 104]. Солдаты верили в чудодействен-

ную помощь легендарного героя народного эпоса королевича Марко. Р. Сетон-Уотсон отмечал, что «вера в этот бред столь же сильна, сколь и стара» [5. S. 15]. Г. Гордон-Смит подчеркивал явный фатализм солдат, что помогало им выстоять в обстоятельствах, которые давно привели бы в смятение многие европейские армии [11. S. 23]. Все это воспринималось безо всякого удивления, как чудачества народа, который только на пути к высшей стадии цивилизационного развития, на которой, как полагали британцы, находятся они сами.

Считая себя более культурной нацией, наблюдатели не могли не отметить наличие у сербов недостатков, однако, с точки зрения англичан, объяснимых и простительных. «У сербов есть очевидные недостатки после стольких веков жизни под властью Полумесяца», – писала К. Мэтьюз. По ее словам, сербов нельзя назвать коварным народом в восточном стиле, но они не всегда правдивы и в их языке отсутствует эквивалент понятию «слово чести» [27. S. 39]. У К. Мэтьюз иногда возникали проблемы с местным населением; ей порой казалось, что местные жители не совсем искренни и честны по отношению к ней. Но прежде чем осуждать, британка старалась понять мотивы такого поведения (она, как и Ф. Сандес, освоила сербский язык на необходимом уровне). Объяснение, которое давала К. Мэтьюз неблаговидным поступкам некоторых сербов, вполне типично. Говоря о негативных чертах сербского населения, британцы всегда использовали безотказный аргумент – многовековое османское владычество. Турция оказалась в стане врагов, за ее реноме можно было не беспокоиться, поэтому османским влиянием понятно и логично для читателей и слушателей объяснялось все плохое, странное и неприемлемое в характере и традициях сербского народа. При этом британцы полагали, что века османской тирании закалили характер сербского народа, вынужденного бороться за выживание и сохранение самобытности. За время мусульманского господства лучшие качества сербов укрепились и помогли им выстоять. По мнению доктора Мэтьюз, дух менее жизнелюбивого и открытого народа в подобных условиях существования наверняка был бы сломлен.

Наблюдатели отмечали чрезвычайную музыкальность и поэтичность сербского населения [27. S. 34–39]. Приверженность фольклору британцы объясняли низким уровнем грамотности. «Они замечательный народ, – писала К. Мэтьюз, но образовательный процесс только начинает свой путь в их общинах» [27. S. 68]. Британцы приехали из страны, которая, наряду с США, в отношении грамотности населения на тот момент являлась передовым государством, где была развита периодическая печать и почтовая система. Любой английский солдат, пусть с ошибками, но все-таки мог написать письмо с фронта домой. На Балканах британцы увидели, что большинство населения не владеет грамотой, поэтому солдаты не могли поддерживать связь с семьей [27. S. 39].

Очевидцы подчеркивали, что подавляющее большинство сербского населения составляют крестьяне, по выражению С. Ливингстон, «костяк государства». В начале войны некоторые солдаты просили у командиров разрешения по мере возможности работать на близлежащих сельскохозяйственных угодьях [25. S. 121]. Ботинкам крестьяне предпочитали национальную обувь — опанки, в которую на ночь наливалась вода, таким образом, обувь принимала идеальную форму [25. S. 117–119]. Все эти бытовые подробности, добавлявшие рассказам о войне несомненный колорит, отвечали ожиданиям читателей начала XX в., когда в моде были экзотика и малоизученные цивилизации.

Отмечалось гостеприимство сербов [16. S. 148–149]. Л. Черч объяснял законы гостеприимства сохранившимися со времен Средневековья традициями. Поскольку ранее для путешественников не было привычных европейцам условий, то странники останавливались в частных домах, и прием гостей стал неотъемлемой частью сербского быта. Черч называл это «инстинктом гостеприимства» [2. S. 100].

Образы, связанные со Средневековьем, возникают на страницах источников нередко: сравнения разыгравшейся на Балканах эпидемии с «черной смертью» — чумой, вера в предания и зелья, колдуны, легендарные воины. Британцы как будто воочию увидели то утраченное, о чем они привыкли слышать лишь в легендах. Даже боевой дух, казавшийся очевидцам чем-то иррациональным в той катастрофической ситуации, в какой оказалась сербская армия, шотландец Р. Сетон-Уотсон сравнивал с доблестью легендарных шотландских героев XIV в., борцов за независимость, Роберта Брюса и Уильяма Уоллеса [5. S. 12]. Подобное восприятие можно вписать в контекст так называемого этнического представляемого прошлого.

Непростая и насыщенная история Сербии, а также ее трудное положение во время войны толкали британских очевидцев на размышления о ее будущей судьбе. Авторы источников осознавали особую миссию этой страны. Доктор К. Мэтьюз предрекала сербам великую историю: «В будущем, за которое мы боремся, в будущем свободной Европы, серб станет человеком нового типа, и все его величие засияет с новой силой» [27. S. 55]. Л. Черч писал, что в лабиринтах дипломатии и огне войны дух свободы, свойственный сербам, сделает их великой нацией, способной занять свое место среди государств – флагманов прогресса [2. S. 132]. Р. Сетон-Уотсон, отмечая, что Сербия борется не только за собственную свободу и существование, но и за освобождение близких ей народов – хорватов и словенцев, напоминал озвученные западными политиками цели идущей войны. «Наши государственные деятели с самого начала войны без устали говорили, что мы воюем за принцип национального определения», - писал историк. По его мнению, нет в Европе территории, где этот вопрос стоял бы острее, чем на Балканах. Но для британского правительства вопросы устройства Восточной и Юго-Восточной Европы не обладали первостепенной важностью, хотя оно взаимодействовало с находящимися в Лондоне эмигрантскими кругами, в том числе с югославянами. Несмотря на то, что кризис, послуживший началом конфликта, разразился на Балканах, не южнославянский фактор повлиял на решение Англии вступить в войну. Ведущие политики в своих речах говорили о вступлении в войну во имя международного права, а не права наций на самоопределение [26. S. 216].

Осознавая, что во время войны основное внимание большинства англичан приковано отнюдь не к Юго-Восточной Европе, Р. Сетон-Уотсон, тем не менее, призывал своих соотечественников принять «крещенного огнем» нового члена в европейскую семью, обновленную и свободную [5. S. 31].

Прославляя ратные подвиги и стойкость духа сербов, британцы не забывали и о своем отечестве. Они видели в себе миссионеров из иного, высшего мира, наделенных правом судить других. Они исходили из того, что обладают «презумпцией цивилизационного превосходства» [34. С. 18]. Из рассказов большинства очевидцев читатель должен был сделать вывод, что Великобритания – едва ли не единственная надежда и опора сербской армии и населения, находившихся в отчаянном положении. Даже радикально настроенный доктор Алпорт, критикуя английское руководство, подчеркивал, что роль его соотечественников в помощи сербскому народу очень велика, что они понимают сербов и хорошо относятся к ним. Помощь на всех уровнях преподносилась исключительно как акт доброй воли английского народа, сочувствующего страданиям сербов. Если в случае с Бельгией шла речь о международном праве, и следовательно, моральном долге по защите его постулатов, то поездка на Балканы должна была свидетельствовать о личной смелости автора, его стремлении помочь страждущим. Книга, посвященная военному опыту на Балканах, чаще всего выглядела как рассказ активного, много повидавшего человека, предназначенный для любознательного домоседа, которого интересуют далекие страны и народы. В повествованиях о Западном фронте центральное место занимала непосредственно война, тогда как в случае с Сербией акцент делался на ярких деталях и занимательных историях. Тем не менее, эта особенность текстов не помешала складыванию благодаря объективным предпосылкам образа серба-героя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Wingfield-Stratford E. The Victorian Aftermath, 1901–1914. London, 1933.
- 2. Church L.F. The Story of Servia: Her Birth, Her Death, Her Resurrection. London, 1914
- 3. *Курчатова О*. «Сербский вопрос» в общественном мнении России (конец XIX начало XX века) // Власть. 2008. № 3.
- 4. Reiss A. How Austro-Hungary Waged War in Serbia. Personal Investigation of a Neutral. Paris, 1915.
- 5. Seton-Watson R.W. The Spirit of the Serb. London, 1915.
- 6. Walshe D. With the Serbs in Macedonia. London, 1920.
- 7. Chirol V. Serbia and the Serbs. London, 1914.
- 8. Askew C., Askew A. The Stricken Land: Serbia as We Saw It. London, 1916.
- 9. Lipton Th. The Terrible Truth about Serbia. London, 1915.
- Bickel H. Englische Propaganda für das Recht der kleinen Völker während des Weltkrieges. Jena, 1939.
- 11. Gordon-Smith G. Through the Serbian Campaign: the Great Retreat of the Serbian Army. London, 1916.
- 12. Ллойд Джордж Д. Через ужасы к победе. Речи, произнесенные во время войны. Пг., 1916.
- 13. Price C. The Role of Serbia. London, 1918.
- 14. Война и общество в XX веке. В 3-х кн. М., 2008. Книга 1. Война и общество накануне и в период Первой мировой войны.
- 15. Мировые войны XX века. В 4-х кн. М., 2005. Книга 1. Первая мировая война. Исторический очерк.
- 16. Alport A.C. The Lighter Side of the War. Experiences of a Civilian in Uniform. London, 1934.
- 17. Folks H. The Human Costs of the War. New York; London, 1920.
- 18. Писарев Ю.А. Сербия и Черногория в Первой мировой войне. М., 1968.
- 19. *Шкундин Г.Д.* Вопрос о сспаратном мире с Болгарией в политике держав Антанты (октябрь 1915 март 1916). М., 1998.
- 20. Писарев Ю.А. Тайны Первой мировой войны. Россия и Сербия в 1914–1915 гг. М., 1990.
- 21. За балканскими фронтами Первой мировой войны. М., 2002.
- 22. Reiss A. Austro-Hungarian Atrocities. Report upon the Atrocities Committed by the Austro-Hungarian Army during the First Invasion of Serbia. London, [1915].
- 23. Kuhne V. Ceux dont on ignore le martyre. (Les Yougoslaves et la guerre). Geneve, 1917.
- 24. Serbia and Europe, 1914–1920. London, 1920.
- Livingston S., Steen-Hansen I. Under the Three Flags. With the Red Cross in Belgium, France and Serbia. London, 1916.
- 26. Calder K.J. Britain and the Origins of the New Europe, 1914–1918. Cambridge, 1976.
- 27. Matthews C. Experiences of a Woman Doctor in Serbia. London, 1916.
- 28. A Prose Anthology of the First World War. London, 1993.
- 29. Sandes F. An English Woman-Sergeant in the Serbian Army. London, 1916.
- 30. Adie K. Corsets to Camouflage: Women and War. London, 2003.
- 31. *Thurstan V*. The People Who Run: Being the Tragedy of the Refugees in Russia. London; New York, 1916.
- 32. Джурич Дж. Первая мировая война с точки зрения типичного сербского интеллигента (по дневнику президента Сербской королевской академии)// Первая мировая война в литературах и культуре западных и южных славян. М., 2004.
- 33. Шемякин А.Л. Идеология Николы Пашича. Формирование и эволюция (1868–1891). М., 1998.
- 34. Гордон А. Новое время как тип цивилизации. М., 1996.



© 2011 г. В. В. МАРЬИНА

СССР ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГОДОВ В СЛОВАЦКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ПОСЛЕДНЕГО ДВАДЦАТИЛЕТИЯ

Прослеживается связь исторической науки с развитием словацкого общества после «бархатной революции» 1989 г., распада Чехословакии и образования самостоятельной Словацкой республики. Обозначены задачи, вставшие в это время перед словацкими историками. Показаны направление исследований по истории Второй мировой войны, словацко-советских отношений этого периода и по спорным вопросам словацкой истории, охарактеризованы работы отдельных авторов.

The study reviews the connection between historical science and processes in the Slovak society after the «velvet» revolution of 1989, disintegration of Czechoslovakia and formation of the independent Slovak Republic. It describes the tasks, which Slovak historians confronted. It presents m directions of historical research on the Second World War, the Slovak-Soviet relations during this period, and on the disputable issues of Slovak history. Relevant works on the topic in question are characterized.

Ключевые слова: словацкая историография, словацкое общество после 1989 г., спорные вопросы историографии.

Стремление многих, но не всех, и даже не большинства словаков, как показали опросы общественного мнения, обрести самостоятельное государство, легитимно оформилось 1 января 1993 г. Это желание тогда было свойственно части политической элиты, а не рядовым гражданам. В 1993 г., например, только 9,7% словаков позитивно оценивали происшедшие перемены. Как оказалось позже, для ряда политиков желание иметь суверенное словацкое государство было сопряжено скорее с карьерными амбициями, чем с ответственностью за него. Создание нового государства осуществлялось в условиях пристального внимания самых разнородных зарубежных сил, и особенно одобрялось потомками словаков-эмигрантов. После возникновения Словацкой республики для ее общественной жизни были характерны перегруппировка и поляризация политических сил, что отразилось в достаточно частой смене исполнительной власти, появлении новых правительств. Политические и экономические кризисы, переплетаясь и усиливая друг друга, волнообразно следовали один за другим. Создавались новые формы управления, проходил раздел общего имущества Чехословакии, набирал силу процесс либерализации экономики и приватизации государственной собственности, сопряженный со многими ошибками, просчетами и аморальными способами осуществления реформ, целью которых было любой ценой попасть на западные рынки.

Марьина Валентина Владимировна – д-р ист. наук, главный научный сотрудник Института славяноведения РАН.



И хотя модель «большой» приватизации пришлось неоднократно корректировать, реализация ее продолжалась, не принося желаемых плодов.

К началу XXI в. негативные тенденции в экономике и политике молодого государства не были преодолены. Запад, который мало что знал о Словакии и называл ее «черной дырой», тем не менее был заинтересован в вовлечении страны в свои экономические и военные структуры – Европейский союз и НАТО. Однако это с настороженностью воспринималось рядовыми гражданами Словакии, которые, оценивая опыт соседних стран, знали, что и тотальная приватизация, и форсированное вступление в указанные международные организации часто сопровождались рядом негативных последствий для национальной экономики и уровня жизни населения. А словакам и так пришлось «затягивать пояса» потуже, например, по сравнению с чехами. Об усилении социальной напряженности в стране и нарастании скептицизма граждан свидетельствовали акции протеста населения. В условиях высокой безработицы, сокращения социальных выплат, повышения цен на основные виды продовольствия, товары ширпотреба, коммунальные услуги и транспорт росла неудовлетворенность своим положением многих слоев населения Словакии. В 2001 г. почти 2/3 словацких семей относились к категории обладателей низкого социально-экономического статуса. Падение уровня жизни весьма болезненно воспринимала и самая большая часть словацкого населения сельские жители, наиболее ощутимый рост благосостояния которых пришелся на 70-80-е годы XX в. Большинство населения Словакии относило себя к числу «потерявших» по сравнению с предшествующим периодом, ощутим был перевес «проигравших» над «выигравшими» в результате реформ. Уровень жизни определял отношение различных слоев населения к политическим и экономическим преобразованиям. Правда, в течение первого десятилетия XXI в. положение в стране несколько стабилизировалось, хотя продвижение по пути демократии давалось ей с большим трудом (подробнее см. [1]).

Таков был фон развития словацкой историографии в рассматриваемый период. Поначалу основными ее задачами, как представляется, были ознакомление мира с историей словацкого народа, в течение многих веков пребывавшего в составе Венгрии, а в 1918—1939 гг. и после Второй мировой войны (до 1993 г.) — в составе Чехословакии, а также легитимизация создания самостоятельного государства. И здесь было важно, что из наследия Словацкой республики 1939—1945 гг. берет с собой новая Словацкая республика, а от чего отказывается. Чрезвычайное значение при этом приобретал вопрос об оценке Словацкого национального восстания 1944 г., его места и значения в истории Словакии (Чехословакии), отношения к нему Советского Союза и других стран антигитлеровской коалиции.

В рамках решения первой задачи в последнее десятилетие XX в. видными словацкими историками были подготовлены и изданы, в том числе и на иностранных языках, обзорные работы по словацкой истории [2]. Словацкая версия англоязычной «Истории Словакии» переведена и опубликована в России [3]. В плане решения второй задачи внимание историков было обращено в первую очередь к квазисамостоятельной первой Словацкой республике (СР). Она возникла по воле Гитлера в марте 1939 г., обладала всеми атрибутами государственности и просуществовала до конца Второй мировой войны. Вокруг оценок этого формально независимого государства, его режима, политики, руководителей велась и ведется по сей день бурная дискуссия, представленная, в том числе, и крайне националистическими точками зрения. Об этом свидетельствуют, в частности, материалы конференции на тему «Словацкая республика 1939—1945», состоявшейся в Братиславе в марте 1999 г. [4]. В контексте внешнеполитической истории СР рассматриваются и ее отношения с Советским Союзом.

Тема «Словакия в годы Второй мировой войны», будоражившая общественное сознание особенно в 1990-е годы и стабильно привлекавшая внимание историков,

3 Славяноведение, № 1



раскрывалась преимущественно на материалах внутренней словацкой истории. Факт существования формально независимой Словакии в 1939–1945 годах брался на вооружение силами, стремившимися к развалу Чехословакии и занятию места у руля правления нового государства. В ноябре 1990 г., т.е. ровно через год после «бархатной революции» 1989 г., в Частей, под Братиславой, был проведен международный научный симпозиум «Словакия в годы Второй мировой войны», основной задачей которого, по мысли его организаторов, являлся анализ «легенд, полуправд и неправд», которые возникли в прошлом вокруг истории этого государства. «Было более или менее естественно и собственно закономерно, – отмечал один из организаторов симпозиума Валериан Быстрицкий, – что каждое политическое течение у нас искало и, конечно, находило в недавнем прошлом то, что требовалось в его политической практике. Точно так же находились и историки, которые в соответствии с этими тенденциями интерпретировали прошлое». Всех интересующихся, по его мнению, можно упрощенно разделить на две категории: тех, кто с оговорками, критически и даже абсолютно в черно-белых красках описывал историю Словацкого государства, и тех, кто видел лишь позитивные стороны, пытаясь объяснить и оправдать все негативное. «Именно этот отрезок нашей национальной истории, – по мнению Быстрицкого, – [...] остается и далее ареной непрекращающихся столкновений историков [...] Однако представляется, что в Словакии в ближайшем будущем едва ли можно ожидать сближение точек зрения или появление непредвзятого взгляда на годы Второй мировой войны, как это происходит в других, развитых демократических странах» [5. S. 3-4]. Последующие годы показали, что этот вывод был справедлив. Из внешнеполитических вопросов участники симпозиума (россиян на нем не было) касались словацко-германских и словацко-венгерских отношений, а также места Словакии в политике европейских держав (Франции, Англии), США, Советского Союза накануне и во время Второй мировой войны.

В ноябре 1993 г. состоялся второй симпозиум, темой которого стала история Словакии на завершающем этапе Второй мировой войны [6]. Прошел почти год со времени образования (второй) Словацкой республики, и борьба за ее характер, направление развития, внешнеполитическую ориентацию обострилась. Более ожесточенными стали и споры внутри исторического сообщества, что явствовало из выступлений многих участников форума. «Развитие словацкого общества в годы Второй мировой войны, – отмечал В. Быстрицкий, – по-прежнему притягивает внимание широкой общественности. Оно становится предметом научных, но зачастую и наивных дискуссий, споров и недоразумений. Оно искусственно, а зачастую и намеренно вбрасывается в нашу современную политическую действительность, становится ее составной частью, предметом политических и идеологических споров» [6. S. 7]. По мнению Быстрицкого, это явилось отражением того факта, что словацкая общественность после Второй мировой войны не имела возможности познать свое прошлое демократическим способом, путем сопоставления альтернативных оценок истории 1939-1945 гг.: «Возникла и постепенно укреплялась определенная схема, которая хотя приспосабливалась и корректировалась в соответствии с нуждами моментальных политических потребностей власть имущих, но абсолютно исключала возможность конфронтации взглядов, то есть одного из решающих импульсов прогресса исторической науки и мышления» [6. S. 8]. В конце Второй мировой войны, когда стала ясна неизбежность поражения гитлеровской Германии, а правящие круги Словакии не намеревались рвать с ней отношения, словацкое общество пришло в движение и стало искать выход из создавшегося тупика. Именно к рассмотрению позиций как сторонников сохранения существовавшего режима, так и его противников, и обратились участники симпозиума. На нем было предоставлено слово и апологету Словацкого государства, словацкому историку-эмигранту Ф. Внуку, выступавшему с яростными нападками на те силы, которые пытались вывести Словакию из войны на стороне Германии и найти общий язык со странами антигитлеровской коалиции. Что касается словацко-советских отношений, то они были затронуты только в выступлении Р. Летца, посвященного деятельности органов НКВД на освобожденной территории Словакии в 1944—1945 гг. Ход и результаты научного форума, по мнению Быстрицкого, свидетельствовали, что «без показа международного развития, положения на фронтах Второй мировой войны [...] невозможно представить реальную картину развития Словакии и словацкого общества», что «игнорирование этих более широких взаимосвязей либо преднамеренно, либо целенаправленно автоматически искажает положение и место Словацкой республики в мире, и в то же время не позволяет правильно осознать все стороны ее внутриполитической жизни» [6. S. 9].

В мае 2000 г. Военно-исторический институт и Институт истории САН провели международную конференцию на тему Словакия и Вторая мировая война [7]. Обсуждение проходило в трех секциях по следующим темам: «Словакия под немецким ярмом. 1939—1945 гг.»; «Общество и армия в Словакии в 1939—1945 гг.»; «Влияние Второй мировой войны на политическое устройство и геополитическое место Чехословакии (Словакии)». Наиболее интересной с точки зрения истории словацко-советских отношений была вторая секция, подробнее о чем будет сказано ниже.

Вообще, что касается проблематики СССР и Словакии в 1941–1945 гг., то в словацкой историографии нет монографий или коллективных трудов, хотя трудно утверждать это с полной уверенностью, поскольку книгообмен исторической литературой между странами (библиотеками, институтами) налажен по сей день плохо, и большая часть этих работ поступает только по еще сохранившимся частным каналам, то есть, благодаря добрым отношениям между учеными. Можно определить лишь некоторые направления исследований словацких историков в области словацко-советских отношений. Это – взгляды отдельных политических сил и их конкретных носителей на СССР и его политику в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн; позиции Советского Союза в вопросе Словацкого национального восстания 1944 г. и советской помощи ему (традиционная и много лет дебатируемая тема); участие словацкой армии в войне на стороне гитлеровской Германии и конкретно в сражениях на советско-германском фронте.

Что касается первого из названных направлений, то здесь следует упомянуть о книге и статье Д. Чиерны-Лантайовой [8]. В последней главе книги исследовательница касается взглядов представителей официальных властей Словакии и их политических оппонентов в стране и за границей на Советский Союз в 1941—1944 гг. Отношение к СССР в словацком политическом мышлении 1944 г. она определяет, как «страх, осторожность и иллюзии». Войну против СССР Гитлер представлял как «крестовый поход» в защиту европейской культуры, чему вторили и официальные словацкие власти. Но даже несмотря на то, что участие Словакии в войне приобрело идеологическую окраску, в словацких верхах не было единодушия в оценке этого шага. Взгляд на Россию характеризовался широким спектром представлений, начиная от мистических и кончая иллюзорными. Как эмоциональная реакция на усиление немецкого давления, в словацком обществе оживали различные виды русофильских настроений.

К указанному направлению можно отнести и работы, касающиеся позиции отдельных словацких политических и военных деятелей во время войны. В 1990-е годы велась острая полемика по поводу оценки личности президента СР монсеньора Йозефа Тисо, накал которой в настоящее время значительно снизился, что обусловлено, как политической конъюнктурой, так и прояснением позиций спорящих сторон. Прежде, в советско-коммунистические времена, Тисо характеризовался исключительно в «черном цвете» как предатель словацкого на-

рода, коллаборационист, до последнего дня войны не оставлявший своего патрона Гитлера. Решением суда в 1947 г. он был приговорен к смерти и казнен. Тисо действительно слыл ярым противником коммунизма и большевизма, смертельно боявшимся прихода Красной армии и грядущего возмездия за свою политику. Вместе с тем он был словацким националистом и своего рода патриотом, радевшим в меру своего умения и представлений за национальное словацкое государство и его народ, но не разделявшим национал-социалистскую идеологию. Фигура Тисо в современной литературе описывается и оценивается по-разному: есть решительные его апологеты (это течение практически сошло на нет), есть столь же решительные критики (их, как представляется, большинство, во всяком случае среди профессиональных историков), а есть сторонники всесторонней оценки и объяснения его деятельности на посту президента СР. Эти последние рассматривают Тисо как заложника обстоятельств, вынужденного действовать в соответствии с ними. Собственно, все эти точки зрения и были представлены на первом научном форуме, состоявшемся в 1992 г. и посвященном личности И. Тисо [9]. Он показан как сложная и противоречивая историческая фигура, рассматривались его политические деяния и мировоззренческие позиции. Каждая историческая личность, писал словацкий историк Д. Ковач, находится в развитии, часто действует противоречиво, и поэтому ее оценка не может сводиться к какой-то одной формуле. Говоря о политических воззрениях Тисо, он отметил, что тот не был привержен демократической системе, скорее предпочитал определенный тип авторитарного режима. Ковач критически отозвался о концепции, согласно которой словацкое государство было, хотя внешне самостоятельным и суверенным, но ответственность за установленный в нем режим и его последствия следует переложить на нацистскую Германию.

В 1998 г. И. Каменец подготовил книгу о Тисо под названием «Трагедия политика, священнослужителя и человека: Д-р Йозеф Тисо. 1887–1947 [10].

Другой крупной по меркам словацкой истории фигурой был министр национальной обороны Словацкой республики Фердинанд Чатлош. Он также представляется как весьма противоречивая личность: умеренный в своих взглядах словацкий националист, разделяющий идеи славянского братства, безусловный сторонник создания и существования самостоятельного словацкого государства, по мере сил и возможностей противящийся усилению нацистского влияния в Словакии и стремящийся уберечь словацкую армию от больших потерь. Министерство обороны нынешней Словацкой республики содействовало выходу в свет краткой биографии Ф. Чатлоша [11]. Он, по мнению ее автора, военного историка В. Штефанского, сначала был благодарен Гитлеру и Германии за создание Словацкого государства, но при этом никогда не отождествлял свои воззрения с национал-социализмом. С 1942 г. Чатлош постепенно, скрытно стал отмежевываться от союзнических отношений с третьим рейхом и размышлять над тем, как вывести Словакию и словацкую армию из войны с наименьшими людскими и материальными потерями, сохранив при этом словацкую государственность. Во время Словацкого национального восстания 1944 г. он перешел на сторону повстанцев в качестве военного министра, пользовавшегося авторитетом в армии, предложил свои услуги по освобождению Словакии советскому руководству (с так называемым Меморандумом Чатлоша был знаком и Сталин), но не получил поддержки Москвы. В. Штефанский считает, что если бы план Чатлоша был принят, то освобождение Словакии проходило бы более успешно и с меньшими потерями для Красной армии. Он утверждает, что предложения Чатлоша не были приняты скорее по политическим, чем по военным соображениям: в результате решительных протестов лондонского эмигрантского правительства и лично Э. Бенеша против сотрудничества Москвы со словацкими коллаборационистами. Советское руководство, как и другие союзники по антигитлеровской коалиции, по мнению Штефанского, в принципе не отвергали возможность сотрудничества с коллаборационистскими деятелями во имя быстрейшей победы над Германией и уменьшения возможных потерь союзнических армий, политику так называемого дарланизма, и в качестве примера приводит казус румынского короля Михая. В случае же с Чатлошем свою роль сыграло согласие советского правительства на восстановление после войны Чехословакии и учет позиции Бенеша в вопросе об отношении к предложениям словацкого военного министра. С повстанческой территории Чатлош был переправлен в Советский Союз и в качестве военнопленного содержался в Бутырской тюрьме. В 1947 г. его передали чехословацким властям и судили вместе с Й. Тисо, но он получил по меркам того времени незначительный срок, а затем был освобожден.

Словацкое национальное восстание (СНВ) 1944 г. – крупнейшее событие как в истории словацкого народа, так и в истории европейского движения Сопротивления периода Второй мировой войны. Именно поэтому оно привлекало и привлекает по сей день пристальное внимание историков, публицистов, а также политиков. И тут нельзя не согласиться со словами известного чешского историка В. Пречана, большого знатока истории CHB1, о том, что прошлое «является полем битвы современников, которые свои проблемы рядят в исторические костюмы», что «обратной стороной демифологизации является демонизация явлений и [исторических] личностей», что «внезапно возникают новые схемы, стираются различия между историческими явлениями, оценки, правильные для одного периода развития механически переносятся в иное историческое время, за людьми не признается право на ошибку и исправление вины» [13. S. 347–348]. Все это, думается, имело место и в освещении истории СНВ на протяжении более шести десятков лет. Ему посвящены публикации документов, сотни монографий и, вероятно, тысячи статей, как на родине, так и за границей. Попыток подвести итоги изучения восстания в различные времена было множество. И связаны они по большей части с «круглыми» и «некруглыми» юбилеями СНВ и проводимыми по этому случаю конференциями. Разбор, как правило, носил конкретно-исторический характер, а оценки зависели от политической конъюнктуры. Но, если говорить о национальной историографии, то восстание оценивалось преимущественно как выдающееся событие в истории словацкого народа, вне зависимости от отношения авторов к отдельным участвовавшим в нем деятелям, политическим партиям и течениям, главным повстанческим силам. Что же касается этого отношения, то здесь черное часто превращалось в белое, а минусы менялись на плюсы. Это хорошо показано в книге одного из виднейших словацких историков Й. Яблоницкого, посвятившего себя изучению проблематики восстания. Книга, сначала вышедшая в «самиздате» в 1980 г. под названием «Об историографии Словацкого национального восстания», в 1983 г. была опубликована в Торонто (Канада) под названием «Манипулированная история СНВ», а затем, переработанная, была издана автором в расширенном варианте в 1994 г. на родине под названием «Критические заметки об историографии СНВ. Злоупотребление историей СНВ и ее фальсификация» [14]. Общее направление развития историографии восстания показано автором данной статьи в обзоре, посвященном в целом историографии движения Сопротивления в Чехословакии в годы Второй мировой войны [15. S. 71–107], а также в специальной статье на эту тему [16].

Изучение истории СНВ в годы политики «нормализации» и «консолидации» шло в направлении, тон которому был задан книгой одного из ее участников и руководителей Г. Гусака «Свидетельство о Словацком национальном восстании»,

¹ Именно В. Пречану принадлежит заслуга до сего дня не превзойденного, хотя и носящего печать своего времени издания сборника документов о СНВ [12].



вышедшей еще в начале 1960-х годов [17]². Разница состояла в том, что, если тогда это была одна из возможных версий истории СНВ (Гусак не претендовал в 1964 г. на окончательность своих суждений и завершенность исследования, о чем и говорил в предисловии к книге), то с начала 1970-х годов и особенно после того, как в 1975 г. Гусак совместил в своем лице посты генерального секретаря КПЧ и президента ЧССР, сделанные им оценки стали восприниматься как не подлежащие сомнению. Эта своеобразная «зашоренность» исследователей не могла не сказаться на развитии научной мысли и не дала возможность выйти за рамки утвердившихся представлений. Все общие работы по истории СНВ, опубликованные к его 30-й, 35-й, 40-й, 45-й годовщинам были схожи по концепции.

В 70-80-е годы XX в. вышло довольно большое количество работ по истории СНВ, несмотря на удар, нанесенный историографии в начале 1970-х. Только в избранной библиографии чехословацкой историографии за 1970–1985 гг. их насчитывалось около 150 [19]. Авторами работ были Ч. Аморт, М. Барновский, С. Цамбел, В. Чада, В. Фиц, Л. Голотик, Й. Грозиенчик, И. Каменец, В. Крал, М. Кропилак, Я. Пиволуска, Я. Пивоварчи, В. Плевза, Я. Шимовчек, З. Шмолдас, В. Штефанский и др. Общее состояние научной разработки проблемы можно было бы определить словом «мозаичность»: появилось много конкретных разработок и статей по отдельным аспектам темы, работ регионального плана. Большое внимание снова отводилось освещению роли коммунистической партии в подготовке и проведении восстания, показу места армии и партизан в СНВ, его влиянию на события в протекторате Богемия и Моравия. Положительной стороной ряда новых исследований было привлечение их авторами широкого круга опубликованных источников и введение в научный оборот неизвестных ранее архивных материалов. Ограниченное же значение вышедших в те годы работ обусловлено тем, что вопрос о деятельности коммунистов в годы войны рассматривался изолированно, вне связи с другими политическими направлениями, представленными в СНВ. Руководящая роль компартии не выводилась из анализа всей совокупности конкретно-исторического материала, а постулировалась, носила аксиоматический характер, хотя это делалось не так прямолинейно, как, скажем, в 1950-е годы. В целом же можно сказать, что историография СНВ 70-80-х годов ХХ в. в количественном отношении была достаточно продуктивной и в разработке отдельных конкретных вопросов (особенно на региональном материале) сделала определенный шаг вперед.

«Нежная» или «бархатная революция» осени 1989 г. внесла коррективы и в историографию СНВ. Признаки этого сразу обозначились как в публицистике, так и в активизации деятельности той группы историков, которые незаслуженно пострадали после 1968 г. и теперь восстанавливались в своих правах исследователей. Заключительные главы упомянутой книги Яблоницкого посвящены анализу тенденций в историографии СНВ, наметившихся в первые годы после краха коммунистического режима. Автор справедливо полагал, что, несмотря на гигантский объем литературы о восстании, пока еще не создан синтетический труд о нем, как, впрочем и по сей день. Дополнительного изучения, по мнению Яблоницкого, требуют вопросы, касающиеся участия в восстании армии, демократических организаций и группировок, оппозиционных режиму Тисо, отношения СССР к восстанию. Яблоницкий считал, что новый взлет историографии о СНВ будет связан с критикой упомянутой выше книги Гусака, но критикой обоснованной, высоко профессиональной, без каких-либо «побочных намерений, противоречащих этике историка» [14. S. 117].

После падения власти коммунистов, с которым, по словам Яблоницкого, рухнул и тезис о руководящей роли КПС (КПЧ) в восстании, была опубликована его

 $^{^2}$ Переизданная в 1969 г., когда Г. Гусак возглавил КПЧ, она была переведена на русский язык [18].

книга «Восстание без легенд» [20], до этого вышедшая в «самиздате» и содержавшая новые оценки по ряду вопросов.

Но в начале 1990-х годов в стране и за рубежом активизировались сторонники и почитатели режима Тисо, среди которых своими нападками на СНВ особенно выделялся вышеупомянутый Ф. Внук. В его изображении повстанцы были лишь мятежниками, поднявшими руку на законное правительство и выступившими против собственного народа. Стали раздаваться голоса о необходимости реабилитации видных представителей тисовского режима в Словакии или же критического переосмысления их деятельности. В мае 1992 г., как говорилось выше, состоялся научный симпозиум по этим проблемам, материалы которого вышли под названием «Попытка воссоздания политического и человеческого портрета Йозефа Тисо» (см. [9]). Слово было предоставлено как тем, кто пытался реабилитировать президента Словацкой республики и созданный им режим, так и тем, кто, выступая за отказ от идеологических клише, настаивал на необходимости всестороннего конкретно-исторического анализа рассматриваемой проблемы. В выступлениях участников было высказано немало интересных мыслей, позволивших скорректировать укоренившиеся представления о характере Словацкого государства периода Второй мировой войны.

Вследствие активизации сторонников негативной оценки восстания в 1991 г. было отклонено предложение об объявлении 29 августа, дня начала восстания, государственным праздником. Однако Национальный совет Словацкой республики этот праздник в 1992 г. утвердил, в чем немалая заслуга принадлежала и словацким историкам. Противники такого решения не сдались и в конце августа 1993 г. организовали в Братиславе «антиповстанческий» семинар под названием Dies ater (День зла), который имел не научный, а исключительно политический характер. В 1993 г. вторым, малоизмененным по сравнению с 1964 г. изданием уже в Словакии вышла книга Внука «Невероятный заговор». Представители высших государственных органов рожденной 1 января 1993 г. Словацкой республики высказались в поддержку позитивной оценки СНВ [14. S. 144—148].

Политическая борьба вокруг значения восстания для судеб словацкого народа не утихала. Полувековой юбилей СНВ был отмечен международной конференцией, где сторонники его негативной оценки не были представлены [21]. Восстание рассматривалось в широких связях и взаимозависимостях. Речь шла (на примере отдельных стран) и о движении Сопротивления, и о том, как Вторая мировая война сохранилась в памяти народов. Глубокий анализ историографии восстания сделал Яблоницкий. Отметив, что критики СНВ исходят из примитивного антикоммунизма, он подчеркнул, что в годы Второй мировой войны коммунисты сражались против фашизма и нельзя их «выбрасывать» из антифашистского Сопротивления или преуменьшать их роль, что необходимо показать то место, которое им принадлежит» [21. S. 97]. Что касается самого восстания, то тут были затронуты и во многом по новому поставлены такие вопросы, как историография СНВ (Й. Яблоницкий), война и восстание (Л. Липтак), концепции и цели словацкого антифашистского Сопротивления (И. Каменец), планы и реалии вооруженного восстания (В. Штефанский), национальный и государственно-правовой вопросы в словацком Сопротивлении и СНВ (Й. Беня), политические последствия восстания (М. Добрикова), западные союзники и СНВ (М. Личко) и др. Интересной была и дискуссия.

Однако страсти вокруг оценки режима Тисо и направленного против него восстания по прежнему не утихали. Особенно активно выступала людацкая эмиграция (сторонники правящей в Словакии в годы войны Людацкой, т.е. народной, партии), которая пользовалась поддержкой части националистически настроенных историков в Словакии. В июне 1995 г. в Братиславе состоялась научная конференция «Словацкая политическая эмиграция в борьбе за самостоятельную

Словакию», материалы которой вышли отдельной книгой [22]. Эта же проблема обсуждалась и на семинаре в Словацкой Матице в июне 1996 г. [23], где в центре внимания находилась тоже людацкая эмиграция. В 1996 г. к 50-летию процесса над Тисо и его казни (18 IV 1947 г.) вышла в свет книга «Утаенная правда о Словакии», содержащая призыв к ревизии процесса над президентом первой Словацкой республики [24]. В этом же духе продолжал выступать за рубежом Ф. Внук. Живший в Италии М. Дюрица в 1995 г. опубликовал книгу «История Словакии и словаков», которая вызвала острую дискуссию. Оппонентами автора выступали словацкие историки Й. Яблоницкий, И. Каменец, Д. Ковач, Л. Липтак. Дюрица ответил им изданной в Словакии книгой «Приблизиться к правде». Наиболее яростным оппонентом «домашних» и зарубежных критиков СНВ по-прежнему являлся И. Яблоницкий [25]. Аналогичной в целом позиции придерживались публицисты словацкого происхождения М. Бурош, К. Гронски, М. Крно, М. Личко, Б. Звршковец и (покойный ныне) В. Глошко, два из которых являлись участниками СНВ, трое жили в Германии, один в Канаде, один в Словакии. В небольшой брошюре они представили свое видение политики Словацкого государства в 1939–1945 гг. [26]. «В Словакии в последнее время, – отмечали авторы, – множатся различные статьи, высказываются соображения, [проводятся] обсуждения, [авторы и участники] которых далеки от объективности в оценках Словацкой республики 1939-1945 гг. и Словацкого национального восстания и, отказываясь от коммунистических версий, переходят к другой крайности» [26. S. 5]. Авторы опровергали следующие утверждения критикуемой ими литературы: а) Словацкое государство, которое возникло по воле словаков, было скорее демократическим государством и раем на земле; б) оно существовало бы вечно, если бы не чехобольшевистские повстанцы, выступившие против собственного государства и уничтожившие его, что не имеет аналогий в человеческой истории; в) Й. Тисо был в большей или меньшей степени мучеником и защитил словацкий народ от геноцида.

Такой подробный разбор оценок СНВ в данной статье необходим, если учесть, что Советский Союз оказывал ему помощь постольку, поскольку руководители восстания исходили из концепции восстановления Чехословакии, тогда союзника СССР, члена антигитлеровской коалиции, в составе вооруженных сил которой и на советско-германском фронте, и на Западе сражались чехословацкие воинские части.

Таким образом, в историографии СНВ в последнее десятилетие XX в. явно обозначились две конфронтационные позиции, которые развивались в параллельных трендах. Политическое значение оценок Словацкого государства, его руководителей и СНВ словацким обществом стало особенно осознаваться в конце 1990-х годов, когда на Западе начал обсуждаться вопрос о принятии Словацкой республики в ЕС и НАТО. Этот мотив четко прозвучал на международной конференции (июнь 1999 г.), посвященной 55-й годовщине Словацкого национального восстания и проведенной в его центре – г. Банска Быстрица. Особенно недвусмысленно об этом говорилось в первом докладе К. Завацкой, озаглавленном «Значение СНВ во внешней политике Словацкой республики в настоящее время». Указывалось, что Словакия отнесена ко второму эшелону стран, назначенных для приема в НАТО, в то время, как другие страны так называемой Вышеградской четверки, Чехия, Польша и Венгрия, оказались в первом эшелоне. Перечислялись сформулированные 3. Бжезинским критерии приема новых стран в НАТО. По мнению Завацкой, одним из главных негативных аргументов этой организации в отношении Словакии являлось то, что ширятся попытки реабилитировать Й. Тисо не только с исторической, но и с правовой точки зрения, что Словацкая республика не рассчиталась окончательно со своим фашистским прошлым (прослеживаются намерения прервать континуитет государства с Чехословакией и подчеркнуть континуитет со Словацким государством), что должным образом не осуждены депортации еврейского населения, осуществленные режимом Тисо. Выступавшие полагали, что следует акцентировать демократические принципы, отстаиваемые Словацким национальным восстанием, которое положило начало вступлению Словакии в демократическую Европу, что, собственно, и было обозначено в названии публикации материалов конференции: «СНВ 1944 г. – вступление Словакии в демократическую Европу» [27].

Апологетов Словацкого государства на конференцию не пригласили. В выступлениях участников подверглись резкой критике научно необоснованные мнения псевдоисториков, считающих СНВ предательством по отношению к словацкому народу и черным пятном в его истории. Было показано развитие словацкого общества в годы Второй мировой войны, подготовка и ход восстания, его смысл и значение для послевоенной истории Словакии. Подчеркивался его интернациональный характер. Из представленных материалов следовало, что СНВ однозначно поставило Словакию на сторону союзников по антигитлеровской коалиции, что вооруженные силы восстания (армия и партизаны) были признаны союзниками составной частью их вооруженных сил, что СНВ с самого начала являлось битвой за демократию против диктатуры, что благодаря ему после окончания войны Словакия оказалась на стороне победителей, а не побежденных.

На конференции выступал генерал-майор В.Д. Рябчук, один из руководителей Союза ветеранов войны России, ответственный за связи с Чехией и Словакией. Он рассказал о деятельности возглавляемой им секции. Словацкий военный историк Я. Станислав с опорой на широкую документальную базу показал, как осуществлялась по воздуху помощь Словацкому национальному восстанию со стороны Советского Союза [28].

Что касается отношения СССР к СНВ и помощи ему, то тут, не оспаривая ее, словацкая историография пытается поставить некоторые, по ее мнению, недостаточно ясные вопросы и ответить на них. По-прежнему, есть разные взгляды на результаты миссии Словацкого национального совета (К. Шмидке и др.) в СССР в августе 1944 г. В ходе переговоров с советскими властями предполагалось достичь договоренности относительно сопряжения действий Красной армии с действиями двух восточнословацких дивизий (ВСД), которые, как планировалось, во время восстания должны были выступить навстречу советским войскам и облегчить их прорыв через Карпаты. Сторонники критической оценки итогов миссии (см., например, [29]) указывают, что такой договоренности достигнуто не было, хотя, якобы, все планы военного повстанческого центра были переданы советским властям. Многие годы эта точка зрения находила поддержку в историографии. Я. Станислав, опираясь на широкий круг источников, попытался несколько иначе подойти к этому вопросу и показать, чем была продиктована позиция советского военного командования. При этом он обратился и к материалам, опубликованным еще в «коммунистической» Чехословакии, но забытых или преднамеренно отвергнутых после 1989 г. Если говорить коротко, то его позиция в этом вопросе сводилась к следующему: военное руководство восстания, не имея операционнотактических планов действия ВСД, тем не менее, хотело, чтобы советское командование предоставило словацкой стороне свои глубоко секретные, касавшиеся подготовки операций Красной армии на варшавско-берлинском направлении, операционно-тактические планы и включило в них действия указанных словацких частей. Я. Станислав вообще весьма критически оценивает военный план восстания, подчеркивая его недостаточную продуманность и разработанность [30].

Свой взгляд он имеет и на помощь союзников восстанию, что касается Великобритании и США. Станислав считает по меньшей мере спорным утвердившийся в историографии тезис: англичане отказались помогать СНВ, ссылаясь главным образом на то, что Словакия будет находиться в зоне оперативных действий Красной армии, и Советскому Союзу проще будет оказывать эту помощь. Это было дей-

ствительно так, кроме того, советское руководство и по политическим соображениям не приветствовало оказание такой помощи западными союзниками. Однако, Станислав полагает, что главная причина нежелания предоставлять свою помощь словацким повстанцам крылась в краткосрочных и долговременных военно-политических планах Англии и США [30. S. 192–195, 210–212].

Представляется, что словацкая историография смогла в основном дать принципиально верный ответ на вопрос об отношении советского государственного, политического и военного руководства к восстанию. Москва, рассматривая события в Словакии через призму своих долговременных (национально-государственных и классовых) и моментальных интересов в регионе Центральной Европы, осознала политическое и военное значение восстания и приняла решение об оказании ему помощи. Советским руководством была оценена как возможность влияния СНВ на последующее, благоприятное для СССР, развитие событий в возрожденной Чехословакии, так и его роль в приближении краха нацистской Германии и выведения из строя ее сателлитов. Уяснив, что в хоре политических голосов, заявивших о своей причастности к подготовке и руководству восстанием, громко звучит голос коммунистов, Москва не сомневалась в необходимости оказания ему и материальной, и политической, и моральной поддержки.

Однако в принципе правильная, на наш взгляд, постановка вопроса о позиции СССР в отношении восстания не исключает дальнейшей разработки этой темы, поскольку и тут есть свои «белые пятна», которые могут быть ликвидированы лишь при введении в научный оборот новых архивных материалов, что относится как к подготовке восстания, так и к его ходу. Например, это касается участия советских людей в восстании (мало что известно, в частности, о группах, направленных в Словакию по линии специальных, секретных служб), о тех конкретных заданиях, в том числе и политико-идеологического плана, которые получали люди, переправленные в Словакию Украинским штабом партизанского движения (УШПД) и советским военным командованием. Очевидно, могут быть уточнены данные, касающиеся поставок Советским Союзом вооружения на повстанческую территорию, а также прояснен вопрос о том, мог ли СССР тогда выполнить все заявки повстанцев.

В связи с вопросом о помощи союзников восстанию зачастую поднимается и вопрос о том, что, не желая участия западных союзников в таковой, СССР в то же время сам не мог оказать ее в надлежащих размерах. При этом не учитываются многие факторы. Вообще тема СНВ – СССР подчас, особенно это относится к работам 1990-х годов, рассматривалась в узком словацко-советском ракурсе с позиций «мы просили, они не дали», «мы предложили, они отказали», т.е. с точки зрения учета интересов исключительно словацкой стороны в решении той или иной проблемы. Интересы, обстоятельства, трудности Советского Союза, четвертый год ведущего изнурительную войну против гитлеровской Германии и ее сателлитов, как бы сбрасываются со счетов. Хотя следует отметить, что в последнее время словацкие историки все более начинают учитывать и международный контекст событий своей истории.

Для того, чтобы более или менее правильно ответить на вопрос об отношении СССР к СНВ, надо, как представляется, рассматривать этот вопрос в широком международном контексте того времени. Без этого невозможно понять и объяснить не только важнейшие принимаемые Москвой решения, но и дать ответ на некоторые, казалось бы, частные, но важные с точки зрения рассматриваемой проблемы вопросы. Очень важно изучение отношений внутри антигитлеровской коалиции, а также отношений Москвы с чехословацким эмигрантским правительством в Лондоне. Отношения с правительством Э. Бенеша шли, с одной стороны, по линии укрепления сотрудничества и признания необходимости восстановления Чехословакии, а с другой стороны, характеризовались недоверием и подозри-

тельностью кремлевского руководства к планам Бенеша и его военного министра С. Ингра, касающимся Словакии. Далее, следует рассматривать проблему и в контексте советской политической стратегии в странах Восточной Европы в конце войны, а также советских военно-стратегических планов. Советское военное командование имело, как известно, свои оперативные планы, изменение которых, без сомнения, требовало определенной ясности относительно событий в Словакии. Наконец, нельзя забывать о внутренних условиях существования Советского Союза, ведшего, как уже упоминалось выше, четвертый год тяжелейшую войну, напрягавшего все силы, чтобы довести ее до победного конца.

Вопросы освобождения Словакии Красной армией, вступившей вместе с 1-ым Чехословацким армейским корпусом (ЧАК) на ее территорию 6 октября 1944 г.³, судя по известной автору литературе, мало освещались словацкими историками. Возможно, считалось, что об этом уже все сказано в прошлом. Но, скорее всего, как теперь говорится, тема просто была не в формате, т. е. неактуальна, немодна, непривлекательна для историков, во всяком случае, что касается 1990-х годов. На конференции (1996), посвященной завершающей фазе Второй мировой войны и освобождению Словакии, по-прежнему центральное место занимали вопросы внутренней истории Словакии. Единственным исключением было выступление К. Грегра, касавшееся роли советской Дунайской флотилии в Братиславско-Брненской операции Красной армии [31].

Негативно оценивалась прежде всего апологетами Словацкого государства Карпато-Дуклинская операция Красной армии, предпринятая по политическим соображениям с целью помощи СНВ. Подвергались сомнению не только ее значение, но и необходимость. Резкие оценки содержались и в книге чешского военного историка К. Рихтера, озаглавленной «Апокалипсис в Карпатах. Бои на Дукле без цензуры и легенд» [32]. На научном семинаре в Праге (октябрь 2004 г.), посвященном 60-летию указанной операции [33], директор словацкого Института военной истории Й. Быстрицкий, проанализировав историографию вопроса, пришел к выводу, что при его исследовании игнорируется исторический контекст операции и ее цели. Если ставится под сомнение вопрос о нужности проведения операции, считает Быстрицкий, то следует поставить и другой вопрос: как складывалась бы ситуация на повстанческой территории, как оценивалось бы отношение Советского Союза к СНВ, если бы эта операция не была проведена, и как на моральном состоянии частей 1-го ЧАК сказалось бы их бездействие в ситуации, когда словацкие повстанцы воевали против немецких оккупационных войск и ожидали помощь корпуса? Быстрицкий упрекнул историков в том, что в погоне за якобы новым взглядом на вопрос они игнорируют уже известные и проверенные исторические факты, указал на «неправды» и «полуправды», появившиеся в литературе при описании боев в Восточных Карпатах. В частности, он коснулся таких дискутируемых вопросов, как потери Красной армии и 1-го ЧАК, отношение официальных чехословацких представителей к прорыву советских войск через Карпаты на помощь повстанцам, передислокация 1-го ЧАК к чехословацким границам, его участие в операции, снятие Я. Кратохвила с командования корпусом и назначение на его место Л. Свободы. Быстрицкий призвал историков не манипулировать историческими фактами, а, исходя из конкретно-исторического подхода, изучать и сопоставлять их в интересах достоверных выводов [34].

Внимание общественности и историков привлекла тема «Словацкая армия в 1939—1945 гг.» [35]. В первую очередь благодаря усилиям Й. Быстрицкого в конце 1990-х годов начал разрабатываться в прошлом «табуированный» вопрос об участии Словакии в войне против СССР и действиях ее армии на восточном, т.е. советско-германском фронте. Различным аспектам этой темы были посвяще-

³ 6 октября в Чехословакии отмечалось как день Чехословацкой армии.



ны выступления некоторых участников вышеупомянутой международной конференции «Словакия и Вторая мировая война» (май 2000 г.). В прежней, до 1989 г., историографии указанная тема, если и поднималась, то только в плане нежелания словацких солдат и офицеров сражаться против Красной армии, их славяно- и русофильских настроениях, связанном с этим дезертирстве и переходе на сторону советских войск. Несомненно, было и это, но было и другое, о чем предпочитали не говорить и что стало известно из архивных документов словацким военным историкам, пожелавшим разобраться в проблеме. По мнению Й. Быстрицкого, комплексная оценка действия словацкой армии на восточном фронте невозможна без рассмотрения «черных страниц» их пребывания «за границами Словацкой республики» [7. S. 213].

Словацкие войска использовались в разных формах на советской территории, начиная с июня 1941 г. и кончая летом 1944 г., когда они были отозваны с восточного фронта. Совместно с немецкими войсками они принимали участие в боях на фронте, обеспечивали безопасность коммуникаций и других важных в военном отношении объектов в тылу германской армии, проводили акции против партизан на оккупированной советской территории, строили оборонительные укрепления для отступавших частей вермахта⁴. Однако к концу войны усилился процесс разложения словацкой армии, участились дезертирство и сдача в плен ее солдат и офицеров. Все эти и многие другие вопросы и были поставлены в работах Й. Быстрицкого [37] и ряда других авторов [38]. В этом плане следует упомянуть о работе Мартина Лацко о словацкой Охранной дивизии в СССР в 1942–1943 гг. [39]. Автор скрупулезно прослеживает дислокацию дивизии, настроения солдат и офицеров, акции против партизан, отношение к местному населению, дезертирство и переход к советским партизанам и т.д. Ставится вопрос о различии в понятиях дезертирство, добровольный переход на советскую сторону и пленение (ведь словацкая армия воевала на стороне Германии), чего в прежней литературе не делалось. Чешский историк Й. Шолц коснулся попыток перехода 1-ой словацкой пехотной дивизии на сторону Красной армии в 1943 г. [40]. Он же рассмотрел вопрос о создании в СССР и участии в боях 2-ой отдельной чехословацкой парашютно-десантной бригады, состоявшей в основном из словаков [41]. Ряд исследований посвящен истории отдельных родов войск словацкой армии (авиации, автобронетанковых) и их действиям на советско-германском фронте [42]. К сожалению, следует отметить, что на русскоязычных страницах Интернет по-прежнему гуляет этакий глянцево-слащавый образ словацкой армии, якобы насильственно отправленной на Восточный фронт, русофильской в своей основе и готовой в своем большинстве перейти немедленно на сторону Красной армии. На все лады повторяются неизвестно откуда взявшиеся данные о том, что из 36 тыс. словацких военнослужащих 27 тыс. добровольно перешли на советскую сторону. Этих цифр нет ни в одном из известных автору серьезных исследований о словацкой армии на восточном фронте. Как это и показано словацкими военными историками, словаки действительно были плохими вояками по сравнению с немцами, словацкая армия в техническом отношении была хуже вооружена, а ее офицерский корпус профессионально плохо подготовлен. Это понимали и гитлеровцы, не собиравшиеся тем не менее отказываться от помощи своего хотя и слабого словацкого союзника.

В заключении следует повторить, что история СССР 1941—1945 гг. в рассматриваемый период исследовалась словацкими историками преимущественно в плане отношения к Словацкому национальному восстанию и помощи ему, оценки значения и хода Карпато-Дуклинской операции Красной армии, участия словацкой армии в войне против Советского Союза и ее действий на советско-германском фронте.

⁴ Конкретный материал об участии словацкой армии на советско-германском фронте см. [36].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Чехия и Словакия в XX веке. Очерки истории. М., 2005. Кн. 2. С. 383–429, 490–502; Власть общество реформы. Центральная и Юго-Восточная Европа. Вторая половина XX века. М., 2006; История антикоммунистических революций конца XX века. Центральная и Юго-Восточная Европа. М.. 2007; Общественные трансформации в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (90-е годы XX века начало XXI столетия). М., 2008.
- Marsina R., Čičaj V., Kovač D., Lipták L. Slovenské dejiny. Martin, 1992; Lipták L. Petite histoire de la Slovaquie. Paris, 1996; Kovač D. Dejiny Slovenska. Praha, 1998; Čaplovič D., Čičaj V., Kovač D., Lipták L., Lukačka J. Dejiny Slovenska. Bratislava, 2000; Kratké dejiny Slovenska. Bratislava, 2003
- 3. История Словакии. М., 2003.
- 4. Slovenská republika 1939–1945. Martin, 2000.
- Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny (Materiály z vedeckého sympózia. Bratislava, 1991. Č. 6–7. Novembra 1990.
- Slovensko na konci druhej svetovej vojny (stav, východiská a perspektivy). Zborník materiálov zo sympózia v Častej-Papierničke 23.11–25.11.1993). Bratislava, 1994.
- Šlovensko a druhá svetová vojna. Zborník príspevkov z mezinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 29–31. mája 2000. Bratislava, 2000.
- 8. Čierna-Lantayová D. Pohľady na Východ (Postoje k Rusku v slovenskej politike 1934–1944). Bratislava, 2002; Čierna-Lantayová D. Slovenský stat a pohľady na Moskvu // Slovanský přehled. 2004. № 3.
- Pokus o politický a osobný profil Jozefa Ťisu. Zborník materiálov z vedeckého simpózia Častá-Papiernička, 5–7 mája 1992. Bratislava, 1992
- 10. Kamenec I. Tragédia politika, knaza a človeka: Dr. Jozef Tiso. 1887–1947. Bratislava, 1998.
- 11. Štefanský V. Generál Ferdinand Čatloš (Biografický náčrt). Bratislava, 1998.
- 12. Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Bratislava, 1965.
- 13. Prečan V. V kradeném čase. Výběr ze studii, článků a úvah z let 1973–1993. Brno, 1994.
- 14. Jablonický J. Glosy o historiografii SNP. Zneužívanie a falšovanie dejin SNP. Bratislava, 1994.
- 15. Антифашистское движение Сопротивления в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (Вопросы национальной историографии). М., 1991.
- 16. *Марьина В.В.* Словацкое национальное восстание 1944 года в послевоенной историографии // Славяноведение. 1999. № 6.
- 17. Husák G. Svedectvo o Slovenskom národnom povstaní. Bratislava, 1964.
- 18. Гусак Г. Свидетельство о Словацком национальном восстании. М., 1969.
- Historiografie Československa. Výběrová bibliografie. 1970–1980. Praha, 1980. S. 218–233;
 Historiografie Československa. Výběrová bibliografie. 1980–1985. Praha, 1985. S. 145–148.
- 20. Jablonický J. Povstanie bez legiend. Bratislava, 1990.
- SNP v pamāti národa. Materiály z vedeckej konferencie k 50. výročiu SNP. Donovaly 26–28. apríla 1994. Bratislava, 1994.
- 22. Slovenský politický exil v zápase o samostatné Slovensko. Bratislava, 1996.
- 23. Slovenský povojnový exil. Martin, 1998.
- 24. Zamlčená pravda o Slovensku. Bratislava, 1996.
- 25. *Jablonický J.* Spomienky a životopisy ľudackých predstaviteľov po roku 1989 // Historický časopis. 1995. N 2; *Jablonický J.* O rozdvojenej historiografie // Dilema. September 1998.
- Kam viedla Slovensko politika Slovenského státu v rokoch 1939–1945? Naše stanovisko. Bratislava, 1997.
- 27. SNP 1944 vstup Slovenska do demokratickej Europy. Banská Bystrica, 1999.
- 28. *Stanislav J.* Sovietský vzdušný most a SNP // SNP 1944 vstup Slovenska do demokratickej Europy. Banská Bystrica, 1999.
- 29. Jablonický J. Neúspešná misia v Moskve. Díl I, II, III. // Historia a vojenství. 1990. № 2–4.
- 30. Stanislav J. Československá vojenská misia v ZSSR a problemy spojeneckej pomoci SNP // Československá vojenská zahraniční služba v letech 1939–1945. Praha, 2008.
- 31. *Grégr R*. Sovetská Dunajská flotilia v bratislavsko-brnenské operací 1945 // Zaverečná fáza druhej svetove vojny a osvobodenie Slovenska. Bratislava, 1996.
- 32. Richter K. Apokalypsa v Karpatech. Boje na Dukle bez cenzury a legend. Praha, 2003.
- 33. Vědecký seminář k 60. výročí bojů v Karpato-Duklinské operaci // Moderní dějiny 13. Sborník k dějinám 19. a 20. století. Praha, 2005.
- 34. *Bystrický J.* Niekoľko poznámok k najnovšej historiografii Karpato-Duklinskej operácie // Moderní dějiny. № 13.
- 35. Kliment Ch. Slovenská armáda 1939–1945. Plzeň, 1996; Kliment Ch., Nakládal B. Slovenská armáda 1939–1945. Praha, 2003.
- Марьина В.В. Советский Союз и чехо-словацкий вопрос во время Второй мировой войны. 1939– 1945 гг. М.. 2009. Кн. 2. 1941–1945 гг.
- 37. Bystrický J. Rýchla (1. pešia) a Zaisťovacia (2. pešia) divizia vo vojne proti Sovietskemu Svazu (1941–1943) // Armáda v dejinách Slovenska. Bratislava, 1993.; Bystrický J. Ťaženie slovenskej armády

na východnom fronte r. 1941 // Vojenská história. 1998. N 2; *Bystrický J.* Zaisťovacia divízia na okupovanom území Ukrajiny a Beloruska. I (september 1941 – november 1942) // Vojenská história. 1999. № 4; *Bystrický J.* Zaisťovacia divízia na okupovanom území Ukrajiny a Beloruska (november 1942 – október 1943). II // Vojenská história. 2000. № 3–4; *Bystrický J.* Pozemné vojská slovenskej armády na východnom fronte 1941–1945 // Slovensko a druhá svetová vojna; *Bystrický J.* Vojenský príspevok Slovenska k vojnovému úsiliu nacistického Nemecka v poslednom roku druhej svetovej vojny // Koniec druhej svetovej vojny a problemy cirkevnej politiky v nasledujúcom období. Bratislava, 2006.

- 38. *Mečianik P*. Vstup Slovenskej republiky do vojny proti Sovetskemu zvāzu // Slovanský přehled. 2004. No 2
- 39. *Lacko M.* Dezercie a zajatia príslušníkov zaišťovacej divizie v ZSSR v rokoch 1942–1943. Bratislava, 2007.
- 40. *Šolc J*. K pokusům o přechod 1. slovenské pěší divize k Rudé armádš v roce 1943 // Vojenská historia. 1999. № 3.
- Šolc J. Padáky nad Slovenskem: 2. československá samostatná paradesantní brigáda v SSSR. Praha, 1997.
- 42. *Rajlich J*. Tatranští orli nad Kubání. Praha, 2002; *Rajlich J* Stihací letka 13 slovenských vzdušných zbraní na východní frontě v letech 1942–1943 // Historie a vojenství. 2001. № 2–3; *Francev V*. Utočná vozba slovenské armády 1939–1944 // Historie a vojenství. 1997. № 2.



© 2011 г. И.И. ЛЕЩИЛОВСКАЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС В ХОРВАТИИ И СЛАВОНИИ В XVIII ВЕКЕ

Статья посвящена развитию литературного процесса в Хорватии и Славонии в XVIII веке. Характеризуется творчество крупных писателей, рассматриваются их сочинения. Отмечаются особенности Просвещения, преобладание дидактизма в литературе.

The article is devoted to the development of literary process in Croatia and Slavonia in the 18th century. It considers the work of most prominent writers explores the features of Enlightenment, stresses the prevalence of didactic motives in the literature of the age.

Ключевые слова: Хорватия и Славония, литература, XVIII век.

Хорватская литература имеет большую историографию. Но одним из наименее изученных аспектов остается ее развитие в Хорватии и Славонии в XVIII в. Настоящая статья отличается от научных работ по этой проблеме, прежде всего вышедших в России, включением в круг исследования литературы в ее многоязычии и историко-культурным подходом к освещению письменной литературы хорватов в Хорватии и Славонии в рассматриваемое время.

Центральная Европа вступила в XVIII столетие под знаком Карловацкого мира 1699 г., завершившего победоносную войну Священной лиги (Австрии, Венеции, Речи Посполитой и с 1686 г. России) против Османской империи. Он положил конец турецкой агрессии на Запад. Австрия приобрела значительные территориальные приращения на востоке, в том числе были освобождены от османской власти земли между реками Сава и Драва, получившие название «Славония». В 1745 г. она была воссоединена с Хорватией под властью сабора и бана. Это стало самым крупным политическим событием в истории хорватов XVIII в.

Хорватия и Славония в составе Венгерского королевства входили в государство Габсбургов. В XVIII в. Австрийская монархия переживала глубокие процессы, вершиной которых были реформы «просвещенного» абсолютизма. Все это протекало в условиях действия общеевропейских факторов: национального разграничения и самоидентификации народов, зарождения гражданского общества, идейно-культурного феномена Просвещения. В конце столетия Европу потрясла Великая французская революция.

В XVIII в., особенно во второй его половине, стали заметны общественные изменения в Хорватии и Славонии. Дворяне торговали продукцией своих поместий, некоторые из них заводили мануфактуры, горожане сочетали торговлю с разнообразным предпринимательством. Крестьяне в середине века развернули почти

Лещиловская Инна Ивановна – д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН.



повсеместную борьбу с растущей эксплуатацией. Появились признаки оформления социального слоя интеллигенции из лиц разного происхождения. Жизнь хорватов, находившихся в тесном соседстве с продвинувшимися европейскими народами, складывалась под воздействием внутренних сил и импульсов, традиционных обстоятельств и всеобъемлющих европейских процессов.

Хорватская культура, как и в предыдущие столетия, развивалась в одном направлении, но разными потоками в провинциях, отличавшимися диалектами письменного языка на народной основе, традициями, связями и темпами роста. Принципиально важным обстоятельством стало образование во второй половине XVIII в., наряду с Далмацией и Хорватией, культурного центра в Славонии, хотя и при турецкой власти здесь развивалась книжность на народном языке, носителями которой были францисканцы.

Литература в Хорватии была двуязычной. Она создавалась на латинском языке и кайкавском диалекте. Двуязычие проявлялось не только у разных писателей, но и в творчестве одного лица. По роду интересов и занятий многие создатели литературных произведений одновременно писали исторические сочинения, вели лексикографическую работу, составляя словари, издавали учебники и т.д. Это были не профессиональные писатели, а скорее носители книжной культуры.

В рассматриваемое время литературой в Хорватии занимались главным образом религиозные деятели, и решала она прежде всего церковные задачи. Религиозная литература по своему содержанию, характеру и жанрам продолжала традиции XVII в. Она представляла поток катехизисов, сборников молитв, проповедей, «советов» религиозной и воспитательной направленности. При этом авторы широко иллюстрировали свои сочинения всевозможными притчами, имевшими разные источники, и оживляли духовными песнями, а то и вовсе создавали стихотворные тексты, подражая нередко стилистике народных песен и используя их метрику. Так или иначе церковные писатели отражали в своих сочинениях отдельные мирские явления, в частности реальную жизнь Хорватии, расширяя кругозор читателей.

Плодовитым церковным писателем был загребский францисканец Стефан Загребец (1688–1742). Он мастерски компоновал притчи, неустанно работая, написал обширный проповеднический труд на кайкавском диалекте в пяти частях, которые выходили в основном в Загребе с 1715 по 1734 гг.

Одним из наиболее известных церковных кайкавских писателей был иезуит Юрай Мулих (1694–1754). Он был родом из дворянской общины Турополе. Это был человек подвижной, активный и в высшей степени консервативный. В его литературной деятельности церковное просветительство сочеталось с нападками на вольтерианцев и руссоистов.

Мулих составлял катехизисы и молитвенники на народных диалектах в зависимости от местности, где распространялись эти книги. Он много раз вдоль и поперек объехал и обошел Загребскую епархию и Венгрию, проповедуя католические ценности. Мулих писал также религиозные песни, которые умело снабжал моральными и церковными поучениями. Он распространял их среди простого народа, стремясь вытеснить с их помощью из обихода народные песни (см. [1. S. 127 i sl.; 2. S. 312, 333, 334; 3]).

Этому автору принадлежали как оригинальные, так и переводные сочинения с немецкого, латинского, испанского языков. Он пользовался в литературной работе родным кайкавским и штокавским икавским диалектами. При этом Мулих сознательно вносил в свой кайкавский текст элементы славонского штокавского диалекта икавского произношения. Это отвечало объединительным славянским традициям Римской курии, но также и пробивавшейся потребности в литературно-языковом сближении кайкавского и штокавского населения Хорватии и Славонии.

Видной фигурой в кайкавской литературе того времени был паулинец Хиларион Гашпароти (1714—1762). Ему принадлежали четыре книги жизнеописаний святых и проповедей «Цвет святых» (1752—1761). Это были переводы, компиляции, а также оригинальные сочинения (в основном проповеди). Среди прочих авторов Гашпароти упоминал в энциклопедическом труде дубровчанина М. Орбина и Ф. Главнича из Истрии. Он преследовал задачу религиозного и нравственного просвещения населения. Но его книги благодаря привнесению в них автором иносказательных рассказов, исторических реминисценций стали увлекательным чтением, своего рода беллетристикой, способной захватить умы и души неискушенных грамотных хорватов (см. [4]).

Заметным культурным явлением стало первое печатное издание большого сборника «Cithara octochorda» – собрания религиозных песен на латинском языке и кайкавском диалекте, снабженных большей частью нотным текстом. Это были песни, веками существовавшие на кайкавской территории. Сборник выдержал три издания (Вена, 1701, 1723; Загреб, 1757). Необыкновенная красота многих песен обеспечила ему долгую жизнь [5].

Главной функцией церковной кайкавской литературы было разъяснение населению католического учения. В то же время она прививала прихожанам чувство значимости родного языка. Духовные писатели совершенствовали его, сознательно стремились иногда к сближению кайкавского и штокавского диалектов. Наиболее талантливые авторы вносили вклад в эстетическое обогащение литературы. Претерпевала изменения стилистика религиозных песнопений. Духовные писатели (Мулих, но особенно штокавцы боснийские францисканцы) создавали церковные песни в народном стиле, десетерцем (народным десятистопным стихом). На мелодии популярных народных песен «накладывались» религиозные стихи [2. S. 334]. С одной стороны, это могло быть проявлением естественного процесса проникновения в церковную сферу элементов светской культуры. Но с другой — церковники предпринимали сознательные шаги, чтобы вытеснить народную и вообще светскую поэтическую стихию из жизни общества, сузить сферу ее функционирования.

Церковное просветительство представляло сложное явление. Решая свои традиционные задачи, оно выполняло специфические общественные функции. Но церковные писатели сочетали, как правило, религиозные поучения с консерватизмом, излишним традиционализмом в сферах политики, культуры, быта.

Особое место в кайкавской литературе занимали рукописные стихотворные сборники, включавшие песни разных времен, начиная с древности. Им принадлежала ниша между фольклором и книжностью. Входившие в эти сборники сочинения создавались анонимными авторами – дворянами, священниками, иными образованными людьми. Сборники носили целиком духовный или только светский, а также смешанный характер. Кайкавская духовная поэзия большей частью была переводной с латинского языка. Кайкавские рукописные сборники включали иногда песни на других хорватских диалектах, а также на латинском, венгерском и немецком языках. Содержание светских песен было разнообразным, включая любовную лирику, стихотворения с описанием природы, исторические песни, связанные с конкретными событиями, шуточные сочинения. Они отражали мысли и чувства конкретного человека в разных жизненных обстоятельствах. В рукописных сборниках встречались иногда стихотворения, раскрывавшие богатство поэтической метрики, содержавшие свежие образы и отмеченные большими выразительными способностями кайкавского диалекта (см. [6]).

В XVIII в. в хорватской художественной культуре протекал процесс барокизации, начавшийся еще в XVII в. Он затронул, в том числе, светскую и полусветскую литературу. Ее представителем на рубеже веков был Павао Риттер

Витезович (1652–1713). Человек с широким кругозором, он проявил себя в разных сферах культуры, во многом опередив свое время.

П. Витезович связал своим творчеством XVII и XVIII столетия. Он родился в Приморье, где господствовал чакавский диалект, в городе Сене, в семье австрийского офицера, потомка выходцев из Эльзаса, получивших дворянство. Начальную школу молодой человек закончил, видимо, в родном городе, где царила глаголяшская атмосфера. Затем была учеба в загребской гимназии. Уже в это время в нем проявился неспокойный дух. Бросив гимназию, Витезович отправился в Рим, откуда после кратковременного пребывания перебрался в Крайну. Здесь он два года провел во дворце знаменитого историка И.В. Вальвасора, помогая ему в подготовке его труда «Слава герцогства Крайны». Витезович освоил гравирование по меди, картографию и сам проникся интересом к истории.

В 1682—1683 гг. Витезович в качестве делегата города Сеня участвовал в работе венгерского Государственного собрания. В 1684 г. он уже — посланник бана Н. Эрдеди при австрийском дворе. В то время хорватский деятель не имел постоянного места жительства, устойчивых занятий и доходов.

Наконец, скитальческая жизнь его, казалось, закончилась. Он поселился в Загребе, оказавшись в окружении епископа Микулича, бывшего его одноклассника по гимназии. В 1694 г. хорватский сабор передал в управление Витезовичу муниципальную («государственную») типографию, основанную в городе еще тридцать лет назад, но бездействующую. Энергичный управляющий вселил в нее жизнь, и в следующем году в Загребе начала работать «Королевская типография», из стен которой вышло в свет около 50 книг — хвалебных песен, календарей, исторических сочинений.

После заключения Карловацкого мира Витезович как представитель сабора вошел в комиссию по демаркации новой границы между Австрийской монархией и Османской империей. Он непосредственно участвовал в демаркации австротурецкой границы на хорватско-боснийском участке. По желанию председателя комиссии Витезович написал обширную записку, в которой высказался за освобождение Австрией южнославянских земель от власти Турции, отрицая при этом право Венеции на Далмацию. Это вызвало к хорватскому автору интерес Вены. В то же время, работая в демаркационной комиссии, Витезович с горечью наблюдал, с какой легкостью австрийские власти оставляли туркам и венецианцам отдельные села и даже районы хорватской земли.

По приглашению двора Витезович посетил Вену. Хорват получил право пользования всеми местными архивами, был удостоен звания придворного советника, а позднее и титула барона, без земельного владения. Он продолжал заниматься издательскими делами. Но с 1706 г. началась череда неприятных для него событий. В Загребе сгорел его дом, а с ним пострадала и типография. Вся вина была возложена на управляющего. Витезович был отстранен от руководства типографией, к тому же он проиграл многолетний судебный процесс, связанный с недвижимостью. В 1710 г. Витезович навсегда покинул Загреб, переехав в Вену. В 1712 г. на сессии венгерского Государственного собрания по случаю коронации он еще представлял родной Сень. Последний год хорватский деятель, чувствуя себя человеком без родины и племени, жил бедно и одиноко. В 1713 г. он скончался (см. [2. S. 254–256; 7. S. 658]).

Витезович был в Хорватии выдающейся личностью, первым светским профессиональным писателем и историком. Он писал в основном на латинском языке, меньше на родном диалекте, привнося в чакавскую основу кайкавские и штокавские элементы [2. S. 257]. Ему принадлежала масса стихотворных произведений, приуроченных к какому-либо событию, поздравительных панегириков в честь видных и знаменитых лиц — Леопольда I, хорватского бана, венгерского палатина, епископов и многих других.

Витезович впервые выступил в печати в 1684 г. с поэмой на чакавском диалекте «Сигетское расставание» (Линц, 1684; Вена, 1685), посвященной славной обороне Сигета от наступления турок в 1566 г. В предисловии «К читателю» автор отметил, что он издал на родном языке это сочинение, «чтобы наш славный хорватский язык» не был предан забвению [8. S. 361]. Оно было написано как воспоминание о защите Сигета и этим отличалось от более ранних произведений на сигетскую тему. Витезович прославлял заслуги руководителя обороны Николы Зринского (Сигетского) перед родиной и Австрией. Поэма была отчетливо окрашена хорватским патриотизмом.

В наиболее известном стихотворении «Воскресшая Хорватия», написанном по следам победы Священной лиги над Турцией и изданном на латинском языке в 1700 г. в Загребе, Витезович предстал как политический мыслитель. В 1703 г. увидело свет его стихотворное произведение «Два столетия плачущей Хорватии» о трудной судьбе Хорватии в последние века. Оно было написано на латинском языке гекзаметром.

Сильное впечатление произвела на Витезовича победа Петра I над шведами под Полтавой в 1709 г. В лице России он увидел силу, способную разбить Турцию. Это получило выражение в созданном им в 1710 г. стихотворном венке из 20 анаграмм на латинском и родном языках. Автор призвал Петра I сокрушить Османскую империю и взять Царьград. Предположительно латинский вариант был напечатан, но сохранился он лишь в рукописи (см. [9. S. 145]). Это было первое упоминание в северной хорватской литературе о Петре I и выражение конкретного восприятия России.

Как уже следует из вышесказанного, важной сферой гуманитарных занятий Витезовича была история. В 1696 г. в Загребе вышла его «Хроника веков всего мира», в которой он отдал дань кайкавщине. Автор продолжил изложение событий после «Хроники» Врамеца (1578) до своего времени. В предисловии он писал, что предназначал ее для ознакомления с историей малообразованного населения, «чтобы большинство ею пользовалось» [8. S. 433]. Сочинение было написано сухим и скупым языком, но иногда автор излагал события, не скрывая горестных чувств. Под датой 1690 г. значилась запись: «Взяли турки и нижний Белград, большой красивый город, легко и без крови, на великую печаль и вред всему христианству» [8. S. 471].

«Хроника» и стихотворение «Воскресшая Хорватия» представляют особый интерес в плане развития политических взглядов Витезовича и шире – зарождения хорватской политической мысли. В «Приложении» к «Хронике» автор отождествил слова «иллирский» и «словинский» (славянский) применительно к языку [8. S. 473–474]. В то время понятие «иллирский» употреблялось в литературе для обозначения хорватских диалектов. Витезович распространил его как изначальное на всех славян. Он опирался, вероятно, на легенду о братьях Чехе, Лехе и Русе, прародину которых, вслед за историком Ратткаем, находил в хорватском городке Крапине (см. [9. S. 142]). В стихотворении «Воскресшая Хорватия» Витезович охватил названием «Хорватия» территорию от междуречья Савы и Дравы до Приморья и от Альпийских гор до Сербии и далее на восток, т.е. земли, населенные южными славянами и соседними народами. Автор посвятил стихотворение Леопольду I и его сыну Иосифу – королям «целостной Хорватии». Ее воскрешение он связал с австрийским двором [9. S. 143]. Поиски Витезовичем формы консолидации славян сочетались у него с мечтой о верховенстве Хорватии на юго-востоке Европы.

Идейная позиция Витезовича получила выражение и в сосредоточенности его научных интересов. В 1701 г. он издал в Вене на латинском языке «Стематографию» – южнославянский геральдический сборник. В следующем году она вышла и в Загребе с дополнениями. Витезович в 1712 г., выпустил в Трнаве сочинение

«Пленница Босния» и закончил историю Сербии в Средние века, но эта работа осталась в рукописи.

Много сил Витезович отдал лексикографии. Он составил иллиро-латинский и латинско-иллирский словари. Они остались в рукописи, причем сохранился только последний. Витезович был сторонником хорватского литературного языка, основанного на лексике трех диалектов: чакавского, кайкавского и штокавского, что получило отражение в его словаре. Он также предложил реформу латинской графики, исходя из принципа — для каждого хорватского звука одна буква. Для этого Витезович ввел диакритические знаки. Графические новшества он последовательно проводил в своих сочинениях. Витезович и лексикограф Белостенец наметили направление реформирования хорватского латинского письма (см. [2. S. 261; 7. S. 726]).

Хорватский деятель проявлял интерес к народному творчеству и собирал его. В 1702 г. в Загребе он выпустил сборник пословиц, которые ранее были напечатаны в его календарях [8. S. 344].

Витезович, с его разносторонними гуманитарными интересами, творческой активностью и научной интуицией, внес много нового в культурное развитие хорватов и закрепил имевшиеся уже достижения. Он положил начало развитию в Хорватии политической мысли, отмеченной, хотя и утопическими, раздумьями о судьбах родины, впервые набросал путь реформирования латинской графики, обогатил хорватскую историографию и литературу значимыми сочинениями. Деятельность Витезовича усилила культурное значение Загреба. Влияние его творчества испытали представители не только хорватской, но и сербской культуры XVIII-XIX вв. Знаменитый далматинец А. Качич-Миошич опирался среди прочих сочинений на «Хронику» Витезовича при создании своей книги «Кораблица». В основу первого сербского печатного издания «Стематография» (1741) был положен одноименный геральдический сборник Витезовича. Деятели хорватского национального возрождения, начиная в 30-х годах XIX в. литературноязыковые преобразования, не обощли вниманием первый опыт реформирования хорватской латиницы и трехдиалектный принцип создания общехорватского литературного языка.

Сочетание в творческой деятельности занятий историей и литературой было характерно также для Балтазара Адама Крчелича (1715–1778). Он родился в селе Брдовец близ Загреба в дворянской семье. Образование молодой человек получил в Загребе, иезуитской Хорватской коллегии в Вене и Иллирской коллегии в Болонье. Крчелич имел степень доктора философии и теологии, солидную юридическую подготовку, владел, помимо латинского, итальянским и французским языками.

По завершении учебы Крчелич короткое время служил приходским священником в Хорватии, а с 1747 г., будучи каноником, членом загребского капитула, находился в Вене в должности ректора Хорватской коллегии. В столице он вошел в придворный круг Марии Терезии, которая передала ему рукописное наследие Витезовича. В 1749 г. Крчелич вернулся в Хорватию, где стал членом Судебного стола, а в 1769 г. – архидьяконом.

Б.А. Крчелич был высокообразованным талантливым человеком, со сложными взглядами и острым умом. Приверженец австрийского абсолютизма, он оставался в то же время патриотом Хорватии, консерватизм каноника сочетался в его позиции с отрицанием церковных орденов и иезуитской схоластики, безоговорочная защита интересов и власти католической церкви — с рациональным одобрением секуляризации школы и отстаиванием пользы наук и знаний.

По словам Крчелича, любовь к родине пробудила в нем интерес к политикоисторической науке, чтобы, опираясь на документы и используя опыт французских, бельгийских и других авторов, вывести из тьмы на свет историю своей земли [1. S. 475]. Так появились в 1770 г. его исторические труды «История загребского кафедрального собора» и «Предварительные заметки о королевствах Далмации, Хорватии и Славонии». Из первого сочинения увидела свет лишь первая часть, в то время как вторая, доведенная до 1667 г., осталась в рукописи. В «Предварительных заметках» автор предпринял попытку показать в целостности хорватскую историю до 1606 г.

Собственник рукописного наследия Витезовича, Крчелич шел его путем хронологического изложения истории и следовал его политической тенденции. Он поддерживал право австрийских Габсбургов на южнославянские земли, обрушиваясь на многовековую власть Венеции над Далмацией. В методах работы Крчелич стремился к критичности, расширению документальной базы, проявлял интерес к народной поэзии как историческому источнику. Это позволило ему развенчать ряд историографических заблуждений, в частности, опровергнуть взгляд на генетическую связь славян с древними иллирийцами. Но в целом Крчелич не достиг современного ему уровня европейской исторической науки [10. S. 10; 2. S. 298–300].

Крчелич написал ряд других работ на латинском языке и кайкавском диалекте. Среди них была небольшая книга «Обозрение писателей королевства Славонии с XIV по XVII столетие». Она вышла под псевдонимом А. Барич в 1774 г. в Вараждине. Это был первый обзор литературы северных хорватов с прошлых времен до Витезовича.

Полтора века в рукописи оставался главный, обширный труд Крчелича «Анналы». Он был написан в 1764—1767 гг. на латинском языке и представлял мемуары и летопись событий современником в хронологических рамках 1748—1767 гг. «Анналы» увидели свет в оригинале лишь в 1901 г. В переводе В. Гортана на современный сербскохорватский язык труд был издан в Загребе в 1952 г. [1].

Автор назвал и описал главные события хорватской жизни, которые в целом представляли широкую панораму состояния Хорватии. В труде были показаны должностные назначения, борьба среди верхушки дворянства за хорошо оплачиваемые места, церковные торжества, работа хорватского сабора, состояние торговли и участие в ней аристократии, внешняя политика австрийского двора, вклад хорватов в его военные действия, повседневная жизнь в городах и многое, многое другое. Крчелич впервые описал волнения крестьян и граничар в Хорватии и Славонии в 1755 г. Это описание вошло затем в историографию восстаний.

Писатель не был бесстрастным фактографом. Его пытливый ум анализировал и оценивал действия хорватских властей, давал меткие и порой нелицеприятные характеристики хорватским политикам и видным лицам. Так, он писал о руководителях административно-политической верхушки рубежа 1740–1750-х годов, что они были не «богами королевства», как их называли современники, а «грабителями родины» [1. S. 475]. Мемуарист отмечал моральные изъяны католического духовенства, которое больше заботилось, по его словам, об обретении богатства, нежели о спасении души [1. S. 457]. Его беспокоило общее духовное разложение общества. «Роскошь, обман, ложь, безграмотность, – писал он, – вот современные божества и идолы» [1. S. 458]. Крчелич ощутил приближение иных времен, нестабильность и неустойчивость общества, казавшиеся ему крушением жизни. И не отсюда ли проистекали его политические симпатии к Марии Терезии, вообще австрийскому абсолютизму, обретавшему черты «просвещенности», как силе, способной якобы предотвратить и остановить разрушительный процесс.

Крчелич вел порой жесткий, порой взволнованный, порой непринужденный разговор с читателем, прямо обращаясь к нему — «знай, читатель!». «Анналы», сугубо светское сочинение, в отдельных частях представляло вполне реалистическое описание жизни и современников. Вот словесный портрет представителя хорватской элиты графа Б. Магдаленича: «Был прост и с добрым сердцем. Его

украшала телесная красота, поэтому он был дорог женщинам, которых ни сам в молодые годы не чуждался и их легко заполучал. Впрочем был истинный придворный, любил шутки и сам охотно шутил. Жил без напряжения и счастливо, легче добивался почета, чем его заслуживал, был очень гостеприимным и охотно угождал иностранцам. В еде и одежде держался золотой середины и постоянно имел у себя гостей. Благодаря всему этому пользовался уважением» [1. S. 461]. Сочинение Крчелича заняло заметное место в истории хорватской литературы, однако не оказало влияния на литературный процесс.

Крчелич внес существенный вклад в хорватскую культуру еще и тем, что в 1777 г. подарил Королевской академии в Загребе свою богатую библиотеку, состоявшую из книг и рукописей. Она стала основой академической библиотеки, в дальнейшем современной Национальной и университетской библиотеки.

На стыке кайкавской и штокавской языковых зон, близ Госпича (Военная Граница) родился в 1760-х годах Й. Крмпотич (ум. ок. 1797 г.). Он стал капелланом и провел большую часть жизни в Вене. Крмпотич оставил след в хорватской литературе своими песнями «по случаю» и панегириками, в которых был слышен отзвук поэзии дубровницких авторов Гундулича и Джурджевича, а также славонца Канижлича. Одно из стихотворений — «Поездка Екатерины II и Иосифа II в Крым» (Вена, 1788) — автор посвятил встрече Екатерины II и Иосифа II на юге России в 1787 г. [11. S. 375; 2. S. 311]. Так образ русской императрицы вошел в хорватскую литературу.

На исходе XVIII в. литературная ситуация в Хорватии была отмечена появлением сочинений, посвященных актуальным общественно-политическим вопросам текущей жизни. Революционные события во Франции не обошли своим влиянием Загреб. В 1794 г. на торговой площади города было воздвигнуто «Дерево Свободы», символ революции, с якобинским колпаком на его вершине. В середине 1790-х годов в Загребе распространялись две рукописные листовки со стихотворениями на кайкавском диалекте. Они имели близкие содержание и форму, что дало основание хорватским исследователям предположить их принадлежность одному автору. По-видимому, это был смелый человек из круга аббата Иг. Мартиновича, возглавившего в 1794 г. «якобинское» тайное общество в Пеште. Оно было связано с Хорватией и Славонией.

Анонимный автор выражал поддержку Франции и идеям свободы, равенства и братства. Разделяя антифеодальное и антиклерикальное настроения, он выступал против зависимости кметов, за гражданское равноправие господ и крестьян. Листовки отвращали от войны против французов [12; 13; 14. S. 49]. Это было время войны европейской коалиции с Францией, время термидорианской реакции и Директории в самой Франции, когда новая армия была еще овеяна славой революции. Стихотворения означали принципиальный сдвиг в развитии хорватской общественно-политической мысли, знаменуя собой зарождение гражданского сознания, а в литературе — зачатки гражданской поэзии.

Появление в Хорватии сочинений, проникнутых передовыми идеями, не осталось без внимания консервативного большинства общества. В «Новом календаре на 1801 г.» писатель патер Гргур Малевац, который в то время был редактором загребского календаря, напечатал под псевдонимом Грегор Капуцин (Монах) стихотворение «Хорват хорвату по-хорватски говорит». В нем автор высказался против Франции и соответственно против революционных движений в Европе, доказывал необходимость сохранения в Хорватии кметства [13. S. 89; 14. S. 78]. Это было первое противостояние в хорватской литературе реальных социальных сил в обществе.

В 1796 г. в Загребе вышла из печати книга, в которой получила выражение новая постановка литературно-языковой проблемы, — «Основа хлебной торговли согласно природе и событиям». Ее автором был Йосип Шипуш, житель города

Карловаца (главного центра экспортной торговли хлебом), образованный экономист и филолог, ученик известного историка, филолога и публициста Шлецера. Книга посвящалась загребскому епископу М. Врховацу и была напечатана в епископской типографии. Язык сочинения представлял собой смесь кайкавского, чакавского и штокавского диалектов. В предисловии к нему Шипуш высказался за единый литературный язык, правописание и терминологию для населения Хорватии, Славонии и Далмации на базе одного из господствовавших там диалектов. Он рассматривал этот вопрос, исходя из интересов процветания народа и свободной хлебной торговли [15. S. 38–42; 14. S. 78].

Новизна этой книги состояла в постановке вопроса о языковой целостности населения Хорватии, Славонии и Далмации (без разделения при этом сербов и хорватов), в определении пути его объединения на основе единого литературного языка с главенством наиболее распространенного в указанных землях диалекта, а таковым был штокавский диалект, возможно, с включением в общий язык элементов и других диалектов, судя по смешанному языку самого автора, наконец, в исходной мотивации такого объединения — общественных интересов. Впервые литературно-языковая проблема была публично поставлена как актуальная задача времени. Книга Шипуша стала знаковым событием, отразив предчувствия в обществе грядущих перемен и знаменуя собой зарождение в Хорватии публицистики.

В XVIII в. большой вклад в сокровищницу хорватской литературы внесли писатели Славонии. До середины века эта провинция была представлена исключительно народной поэзией и религиозной письменностью на штокавском диалекте. Хранителями письма на народном языке выступали францисканские монастыри. Книжники-францисканцы проявляли патриотизм по отношению к родной речи. Славонская книжность, носившая религиозно-дидактический характер, состояла из катехизисов, молитвенников, житий святых, сборников проповедей и духовных стихов.

На этом сером фоне развернулось яркое писательское дарование Антуна Канижлича (1699–1777). Уроженец города Пожеги, он получил среднее образование в иезуитских гимназиях родного города и Загреба, где и сам вступил в иезуитский орден. Канижлич, завершив учебу в университете Граца и в Трнаве, служил профессором в Вараждине и Загребе, в 1728 г. был рукоположен в священники. Он занимал должность управляющего школами и просветительными учреждениями в Загребе, Пожеге, Осиеке, Петроварадине и Вараждине. После ликвидации иезуитского ордена в 1773 г. священнослужитель стал председателем Консистории в Пожеге. Здесь он и умер.

Канижлич начал писательскую деятельность с молитвенников и катехизисов. В зрелые годы он написал два основных сочинения – «Истинный камень большого раздора» и «Святая Рожалия». Обе книги вышли в свет в 1780 г. (Осиек и Вена) посмертно.

«Истинный камень» представлял теологическое и историко-церковное сочинение, в котором автор пытался доказать, что некогда в церкви было единство, поддерживаемое авторитетом римского папы, но в результате отступничества константинопольского патриарха Фотия дело дошло до раскола. Автор клеймил его последователей — отцов церкви за предательство и иноверие. В контексте идейных установок курии Канижлич писал о родстве и близости славян, рассматривая каждый из этих народов как «благородный лист славного иллирского леса». Это сочинение вошло в историю хорватской литературы как первое оригинальное прозаическое произведение на новоштокавском диалекте икавского произношения [2. S. 338, 339].

Самое известное сочинение Канижлича — поэма «Святая Рожалия» было посвящено популярной святой из Палермо (Сицилия). С ней были связаны легенды, согласно которым эта девушка из благородной семьи, жившая при королевском дворе, ушла в пустыню, чтобы служить Богу. В поэме рассказывалось об отшельническом периоде ее жизни.

В выборе темы сочинения Канижлич не был оригинален. Тема покаяния грешников и радости святой жизни была распространенной в далматинско-дубровницкой барочной литературе (Гундулич, Бунич, Вучич, Джурджевич). Канижлич использовал литературный опыт дубровчан, но оригинальность его поэмы состояла в том, что ее героиней была не грешница, а благородная девушка, которая отозвалась на зов «небесного жениха» [2. S. 340–342]. В отличие от традиционной антитезы греха и милосердия, Канижлич воспел как подвиг религиозный экстаз и аскетический образ жизни. По стилистике поэма была запоздалым барочным сочинением. Черты барокко получили выражение как в самом поэтическом жанре, так и в литературных приемах — описаниях, персонификации, аллегории, экзальтации и др.

По идейно-тематическому содержанию с его римско-католической религиозностью, барочной палитре, ограниченности церковными канонами художественного мышления автора поэма носила церковно-традиционалистский характер. Но ее богатый и выразительный штокавский язык, проблески в ней реалистического описания природы и бытовых жизненных реалий, перекличка местами с народной песней, наконец, высокое версификаторское мастерство автора сделали поэму достижением хорватской литературы.

С 60-х годов XVIII в. начались заметные сдвиги в литературном развитии Славонии: появилась светская литература на народном языке, проникнутая идеями, хотя и незрелого, Просвещения. Ее зачинателем выступил Матия Антун Релкович (Релькович) (1732–1798). Он происходил из славонской граничарской семьи, сам начал службу граничаром, но уже в Семилетней войне участвовал в чине капитана. Оказавшись в плену, Релкович почти два года провел в Пруссии, во Франкфурте-на-Одере. Здесь будущий писатель усовершенствовался в знании немецкого языка, выучил французский и познакомился с литературой на них. Пребывание в Пруссии в период правления там «просвещенного» монарха Фридриха II оставило глубокий след в сознании хорватского офицера. Он увидел «ухоженные города и села». Все, что окружало его, разительно отличалось от разоренной и заброшенной Славонии. У Релковича пробудилось желание с помощью литературы помочь воспитанию и просвещению соотечественников, что представлялось ему первоочередным условием улучшения жизни. Этой задаче он посвятил свое главное сочинение – поэму «Сатир, или Дикий человек», которую написал в Саксонии и издал в Дрездене в 1762 г.

Релкович ввел в поэму мифологический образ Сатира — «дикого человека». Представления о «естественном человеке», жившем в гармонии с природой и наделенном нравственными преимуществами, были распространенными в западном Просвещении. Им отдали дань Ж.Ж. Руссо, Ф.М. Вольтер, Д. Дидро и другие, менее значимые авторы. В поэме Релковича простодушному дикарю противостоял мир жестокий и невежественный.

Хорватский автор написал поэму на родном штокавском диалекте, популярным в народе десятистопным стихом со смежными рифмами. Он включил в сочинение и прозаические вставки. Писатель ориентировался на простых славонских крестьян и с ними вел разговор. Он обращался к ним со словами «мой дорогой Славонец», «дорогие братья и добрые земляки». Релкович хотел вернуть своим произведением долг «милому Отечеству». Патриотизм был побудительным мотивом его творчества.

Писатель нарисовал во вводной части поэмы картины родной Славонии, «земли благородной». Бог одарил ее всяческими плодами. Некогда Славония славилась и знаниями, она была «матерью» многих языков – венгерского, чеш-

ского, хорватского, польского, «вандальского», моравского и «московского». Релкович выразил взгляд на благодатную Паннонию как колыбель венгров и всего славянства.

Однако турецкое завоевание, по мысли автора, привело Славонию к разорению и упадку. Для него было тягостным видеть современное состояние родного края: отсталость сельского хозяйства, примитивное земледелие, бездумное уничтожение лесов, бедность и убогость сел. Особое беспокойство писателя вызывали темнота и невежество крестьян, отсутствие общеобразовательных школ, отвращение сельских жителей к учению, почти поголовная неграмотность населения, духовный мрак. В поэме устами Сатира порицались косность патриархального семейного уклада, вредные, с точки зрения писателя, обычаи и обряды. Это посиделки с хороводами и попевками, служившие помехой сельским работам и наносившие вред нравственности, пристрастие мужчин к табаку и питью, выбор жениха или невесты в зависимости от степени богатства, а не по трудолюбию и нравственным качествам, непомерные для бедных расходы, связанные с затяжными и многолюдными свадебными праздниствами и подарками, и пр. Осуждение писателя вызывало вырождение «мобы» (традиционной помощи сельчан вдовам и сиротам) в эксплуатацию бедняков богатыми крестьянами [16].

Показывая путь к искоренению недостатков в жизни славонцев, Релкович утверждал: «Нужны школы и другие знания» [16. S. 7]. Хорватский автор поднял серьезную проблему необходимости и права народа двигаться к цивилизованности и европейскому образованию.

Релкович не только критиковал устами «дикого человека», лесного Сатира, темные стороны жизни славонцев, но давал в поэме практические советы по улучшению земледелия и содержанию скота, рациональному использованию угодий, правильному строительству жилья и др. Распространению полезных знаний в обществе служили и его переводные научно-популярные сочинения, и грамматика письменного языка, нацеленная на обучение полуграмотного населения. Релкович стремился в разных формах внести вклад в обновление жизни славонцев на «здравых» началах.

Поэма Релковича «Сатир» была отмечена новизной в тематическом, идейном и литературном отношениях. Это было первое подлинно светское сочинение на северохорватской культурной территории, написанное светским человеком под прямым влиянием духовной атмосферы в Германии в век Просвещения. В нем впервые была нарисована картина современной сельской жизни с позиции рационалистического видения мира. Поэма представляла сплав реалистического нравоописания и публицистичности. В ней в стихотворной и прозаической формах получили выражение литературные возможности славонского штокавского диалекта. Отличительными чертами поэмы стали ее связь с реальной жизнью, искренность чувств автора, его свободное от традиций мышление, народный стих. Это глубоко патриотическое сочинение, вскрывающее недостатки в жизни Славонии и направленное на их искоренение и достижение процветания родины, было проявлением просветительского мышления. Автору грезилось славонское общество, основанное на знаниях.

Принципиальной особенностью поэмы в литературной ситуации в северохорватском регионе являлась ее приближенность к крестьянам. Сельчане были в центре внимание автора, и его целью была помощь им. Релкович-писатель выступил на стороне простого народа, он писал живым разговорным языком, чтобы быть понятным ему и убедительным.

Поэма «Сатир», полуторатысячный тираж которой полностью разошелся, получила второе издание (Осиек, 1779). Она была автором переработана и расширена. На этот раз Релкович, разделяя иллюзии, связанные с «просвещенным абсолютизмом», показал обновленную Славонию в результате реформ Марии Терезии

[7. S. 537]. В этом издании, в частности, иначе выглядит отношение Релковича к народной поэзии, нежели высказанное им ранее порицание посиделок с попевками. В предисловии к нему автор писал: «Все мои земляки — певцы и от природы стихотворцы: все свои героические подвиги они воспевают в песнях и хранят их в памяти» [16. S. 63]. В этих словах выражены не только признание поэтической одаренности простого народа, но и ценность народной поэзии как сокровищницы его исторической памяти. Возможно, корректировка Релковичем взгляда на устную поэзию была связана с новой концепцией поэмы.

Хорватский просветитель выступил также зачинателем художественного перевода на славонский новоштокавский диалект. Верный принципу «поучать, развлекая», он издал сборник притч и афоризмов «Обо всем» (Осиек, 1795), составленный из разных книг. Опираясь на опыт распространения басен у других народов, Релкович напечатал в прозаическом переводе (с французского и немецкого языков) басни Эзопа (1796) и подготовил к печати перевод басен Федра и «индийского философа» Пильпая [16. S. XXIV i sl.]. Художественная переводческая деятельность Релковича имела морально-дидактическую направленность в просветительском варианте.

На творчество писателя оказала влияние античная литература. Оно особенно очевидно в его переводах. Использование автором античного наследия отвечало обновлению северохорватской литературы, сближая ее с классицизмом.

Релкович занимался также лексикографической и популяризаторской работой, ему принадлежали сравнительная грамматика штокавского диалекта и немецкого языка, практическое пособие по овцеводству в переводе с немецкого языка и учебник по естественному праву — с латинского.

Заинтересованное отношение Релковича к «благородному народу», ясность авторской позиции, новоштокавский диалект на народно-речевой основе — все это обеспечило интерес к поэме «Сатир» со стороны сербского населения Славонии. Свидетельством тому стало издание поэмы кириллицей учителем в Осиеке Стефаном Раичем (Вена, 1793; Буда, 1807). Издатель переложил сочинение с икавской формы диалекта на экавскую и ввел отдельные славянизмы, как это было свойственно тогда «славяно-сербскому» языку сербской литературы. Раич посвятил свой труд «достолюбезной сербской молодежи», указав при этом на воспитательный характер поэмы и ее «поучительный пример сочинения стихов на сербском языке» (цит. по [17. С. 263, 264]).

Творчество Релковича, прежде всего его поэма «Сатир», впервые поставило в литературе Славонии актуальные проблемы общественного звучания. Поэтому поэма вызвала отклики на родине писателя, как одобрительные, так и критические.

В разгоревшейся полемике сторонником Релковича выступил Вид Дошен (ок. 1720–1778). Он родился в Трибне, небольшом далматинском селе на море в отроге Велебита. Получив начальное глаголическое образование, Дошен был рукоположен в священники – глаголяши. Но затем, испытывая тягу к знаниям, он перебрался на север, в Хорватию, где продолжил образование в Крижевцах и загребской Академии. По завершении учебы в Хорватии, молодой священник слушал теологию в университете Граца. Дошен получил хорошее для своего времени теологическое образование.

С 1768 г. Дошен был приходским священиком в селе Дубовик в Славонии, сочетая в течение трех лет, в 1773—1776 гг., эту службу с обязанностями профессора моральной философии и директора гимназии в Пожеге. Дошен отличался высокой общей культурой. В его библиотеке в Дубовике, помимо литургических книг, имелась и общеобразовательная литература. Священники-глаголяши всегда отличались близостью к простому народу. В течение 20 лет Дошен находился в

Славонии в его гуще. Поэтому не удивительно, что он проникся сознанием необходимости подъема культуры крестьян (см. [18. S. 6–8]).

С именем Релковича было связано непосредственно первое сочинение Дошена — поэма «Эхо гор, которое откликается и отвечает на стихи Сатира и славонского тамбуриста» (1767). Автор решительно встал на защиту Релковича от нападок памфлетиста — францисканского монаха, выступившего в 1767 г. в печати под псевдонимом Тамбурист славонский. В прозаическом предисловии и в самой поэме Дошен высоко оценил сочинение Релковича. По его словам, хорватский офицер «написал книжицу, в которой стремился свою родину Славонию украсить должными добродетелями и очистить от гибельных недостатков» [19. S. 16]. Дошен подчеркивал патриотизм Релковича и его заботу о процветании родины. Критика темных сторон народного быта, по мнению священника, преследовала цель, «чтобы народ принял то, что весь разумный свет имеет!» [19. S. 21]. Автор и сам приводил красноречивые примеры отсталости и темноты сельчан.

Дошен приветствовал также выход «Грамматики» Релковича. Ее задачу священник видел в том, чтобы помочь народу научиться «правильно писать» [19. S. 27].

Второе сочинение этого автора — «Семиглавая змея» косвенно также было связано с творчеством Релковича. В стихотворном эпосе, состоявшем из семи песен, он раскрывал семь смертных людских грехов на материале реальной жизни Славонии [20]. Дошен писал остро и непримиримо о человеческих недостатках и слабостях, о темных обычаях и предрассудках земляков.

В центре внимания Дошена были нравственно-бытовые стороны крестьянской жизни. Он заявил о себе как сторонник книг, знаний, образования, считая их условиями преодоления земляками нравственных недугов. При этом в поэме «Семиглавая змея» он пошел дальше Релковича, выразив протест против социальной несправедливости. Он с неодобрением писал, что «большие» люди живут легко и в изобилии, в то время как беднота проводит жизнь в тяжелом труде и пребывает в нищете (см. [18. S. 12]). Дошен был в числе тех писателей, кто приблизил славонскую литературу к реальной жизни.

Признаки нового мышления проявил в своем творчестве Адам Тадия Благоевич (ок.1746—1797), мелкий чиновник центральных учреждений в Вене. Благодаря своему положению он хорошо знал обстановку на своей родине в Славонии. В небольшой поэме «Поэт-странник, или Некоторые события до и после путешествия Иосифа II по Славонии» (Вена, 1771) он показал ее через десять лет после первого издания «Сатира» Релковича. Это сочинение также было написано десятистопным стихом со смежными рифмами.

Автор, сторонник «просвещенного» абсолютизма, отметил некоторое улучшение жизни в Славонии в результате проводившихся в стране реформ: оживление ремесла, подъем торговли, создание светских школ, улучшение культурной ситуации. Вместе с тем, вслед за Релковичем, Благоевич писал об общей духовной отсталости народа. Однако он не ограничился бытовой и нравственной стороной крестьянской жизни и первый в славонской литературе поднял социальные проблемы села. В жалобе крестьянина в поэме говорилось о тяжком бремени господской барщины, которая была мучительнее для подданных, чем турецкая дань. Выход из существующего положения писатель видел в пробуждении у земляков сознания былого величия своей родины и усвоении опыта продвинувшихся в развитии народов. Он особо подчеркнул также значимость кодифицированного литературного языка для приобщения славонцев к цивилизованным народам. Как и Дошен, Благоевич признавал значение созданной Релковичем грамматики родного языка.

Благоевич касался в поэме разных сторон современной жизни Славонии. Осознавая сложность литературно-языковой ситуации на родине, автор сочетал поддержку родного языка с пониманием важности знания соотечественниками и иностранных языков. Порицая укоренившийся у них страх перед всем чужеземным, писатель в то же время осуждал и слепое следование городского населения иностранной моде. Он видел в народной поэзии проявление природной одаренности простого народа, но вместе с тем причислял бытование фольклора к устаревшим обычаям и т.д. (см. [17. С. 270 и сл.]). Благоевич заявлял о себе как сторонник Релковича и Дошена, развивал их писательские позиции и выражал ряд новых мыслей.

После создания поэмы Благоевич занялся переводческой деятельностью. Он сосредоточил внимание на современной европейской художественной прозе. В 1771 г. Благоевич выпустил в переводе (с немецкого издания) философский роман французского аббата писателя-просветителя Г.Ф. Куайе «Чинки, или Кохинхинские события, другим землям поучительные». В предисловии к нему писатель повторил мысль о пользе переводных книг для просвещения населения, а также для развития родного литературного языка, в кодификации которого он видел условие образованности и процветания народа (см. [17. С. 270 и сл.]).

Сам выбор для перевода романа, повествующего о разорении и мытарствах земледельца в вымышленной стране, определялся интересом Благоевича к положению славонских крестьян и его сочувствием к их участи. Выступление писателя оказалось возможным благодаря политике австрийского «просвещенного» абсолютизма, направленной на некоторое упорядочение аграрных отношений в целях сохранения существующих устоев.

Европейское Просвещение не обощло своим влиянием Славонию, где назревшие вопросы общественного развития предрасполагали к этому. С Просвещением были связаны первые светские писатели в Славонии, разработка светских тем из реальной жизни, появление новых жанров в литературе (реалистическое нравоописание, переводные басня и роман), художественная окраска моральнодидактической литературы, словом, вызревание более свободного литературного мышления. Но идеи Просвещения проявлялись здесь в узких рамках и с точки зрения единичности их носителей (Релкович, Благоевич и отчасти Дошен), и с точки зрения кругозора писателей.

Ситуация представляла собой модификацию Просвещения в периферийной провинции, где морально-этические вопросы традиционно были прерогативами христианской церкви, находившейся к тому же в окружении и испытывавшей давление в течение 150 лет чуждой исламской цивилизации. В этих условиях традиционализм и устойчивость народного быта были формами защиты и способом религиозного и этического выживания населения. Ситуация вызывала сосредоточение внимания писателей-рационалистов на морально-этических вопросах и их стремление обучить и просветить народ в каждодневной жизни, сделать его быт и поведение более цивилизованными, привить ему общую светскую образованность. Все это имело патриотическую мотивацию. Но уже были проблески понимания и социальной стороны проблемы. Рационализм, гуманизм и гражданственность были отличительными чертами новой хорватской литературы в Славонии. С творчеством писателей-просветителей начало меняться функционирование литературы на родном языке: она стала активнее внедряться в грамотные слои населения.

К концу XVIII в. просветительские тенденции в литературе Славонии постепенно ослабевали. Наступление реакции в Австрийской монархии отразилось в творчестве Антуна Иваношича (1740–1800). Местом его рождения был Осиек. После учебы в Пожеге, Загребе, Вене и Болонье он был рукоположен в священники, некоторое время служил военным священником. Иваношич представлял в литературной жизни Славонии церковное просветительство, сочетавшееся с политическим консерватизмом. Вместе с тем Иваношич был талантливым поэтом,

знакомым с дубровницкой литературой. Он заимствовал из нее философские и литературные аллегории, поэтические интонации [2. S. 331–332].

Литературный процесс XVIII в. в Славонии завершало поэтическое творчество крупного ученого М. Катанчича (1750–1825). Оно было двуязычным и развивалось несколько особняком. В 1791 г. в Загребе вышел небольшой сборник его стихов «Осенние плоды», в который вошли песни на латинском языке и штокавском диалекте, написанные латинской метрикой. Поэзия Катанчича была в основном поздравительного характера, представляла отклики на текущие события, но включала и «пасторальные» сочинения, а также песни в народном духе, написанные десятисложным стихом. Поэтическое творчество Катанчича носило переходный характер. Он испытал влияние Горация, в его приверженности латинскому языку и воодушевлении античностью присутствовала дань «латинизму», но была здесь и реакция на классицистическую эстетику, с которой Катанчич мог познакомиться в бытность учебы в Венгрии. Катанчич занимался теорией литературы, хорватской просодией, отстаивая для современной ему поэзии латинскую метрику. В этой связи он цитировал или упоминал поэтов И. Джурджевича из Дубровника, П. Дивнича из Сплита, Качича Миошича, а также своего соотечественника М. Релковича [2. S. 344; 21. C. 125–127].

К исходу XVIII в. произошло идейно-тематическое обновление светской части хорватской литературы. В кайкавской Хорватии появились в зародыше гражданская поэзия, отмеченная антифеодальной мыслью, и зачатки общественно-политической публицистики, в Славонии сложилось рационально-просветительское направление

Писатели-просветители провозглашали новые идеалы (общество, основанное на знаниях), ценности (здравый разум) и ориентиры (освобождение общества и личности от давления отживших традиций, канонов и авторитетов). Их искания были в значительной мере утопичными и в отсталой провинции ограниченными. Но заслугой этих подвижников было преодоление средневековых стереотипов мышления, в том числе в писательском творчестве. Были освоены новые темы, жанры, литература приблизилась к запросам реальной жизни, заключая в себе патриотическую мотивацию.

В стилистическом отношении литература в Хорватии и Славонии развивалась в общем русле барокко с его расцветом в середине века и последующим затуханием. Наиболее отчетливо его черты проявились в религиозной поэзии, не связанной с богослужением. В светской литературе давлела поэма, характерный барочный жанр, но с нравственно-дидактической направленностью.

Особенностью литературного процесса в Хорватии и Славонии в рассматриваемое время была слабая беллетризация литературы. Причины этого крылись в условиях исторического развития хорватов в этих землях. Культура их в силу долгой турецкой агрессии не пережила стадии Возрождения на заре раннего Нового времени, которое у других народов положило начало светской художественной литературы. С этим было связано и долговременное господство церкви в литературе, хотя религиозные поэзия, проза и драматургия с их разнообразием жанров так или иначе развивали литературное мышление.

В XVIII в., особенно во второй половине столетия, более живыми стали творческие контакты между литераторами Хорватии, Славонии и Далмации. Расширился кругозор писателей, в него стала входить дубровницкая литература. Складывалось понимание ее богатства и ценности. Литературные контакты были более заметными внутри штокавского языкового ареала, но не оставалась в изоляции и кайкавская Хорватия.

Литературные контакты на хорватском этническом пространстве подкреплялись периодическими всплесками исторической памяти, напоминанием отдельных интеллектуалов о сопричастности судеб Хорватии и Далмации, как

и поисками лексикографов, державших в поле зрения родственные диалекты и использовавших их словарный состав и грамматические формы. В целом, это были ситуативные действия. Но они выражали тенденцию культурного развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Krčelić B.A. Annuae ili historija 1748–1767. Zagreb, 1952.
- 2. Povijest hrvatske književnosti. Zagreb, 1974. Knj. 3.
- 3. *Šojat O.* Juraj Mulih (1694–1754) kao kajkavski pisac i kao kulturno-prosvjetni radnik. Predgovor. Bibliografija. Izbor iz djela. Rječnik // Kaj. Zagreb, 1983.
- 4. Šojat Ō. «Čvet sveteh» Hilariona Gašparotija (1714–1762) // Croatica. Zagreb, 1984. Sv. 20–21.
- 5. Hrvatski kajkavski pisci. Zagreb, 1977. Knj. II.
- 6. Šojat O. Rukopisne pjesmarice // Hrvatski kajkavski pisci. Zagreb, 1977. Knj. I.
- 7. Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Zagreb, 1980.
- 8. Zrinski, Frankopan, Vitezović. Izabrana djela. Zagreb, 1976.
- Šidak J. Počeci političke misli u hrvata: J. Križanić i P. Ritter Vitezović // Šidak J. Kroz pet stoljeća hrvatske povijesti. Zagreb, 1981.
- 10. Enciklopedija Jugoslavije. Zagreb, 1960. Sv. 4. Historiografija.
- 11. Kombol M. Povijest hrvatske književnosti do narodnog preporoda. Zagreb, 1961.
- 12. Šojat O. O dvjema kajkavskim revolucionarnim pjesmama s kraja osamnaestog stoljeća //Croatica. 1970. Br. I.
- 13. Šidak J. Odjeci Francuske revolucije i vladanje Napoleona I. u hrvatskim zemljama // Šidak J. Studije iz hrvatske povijesti XIX stoljeća. Zagreb, 1973.
- 14. Hrvatski narodni preporod. 1790–1848. Zagreb, 1985.
- 15. Fancev F. Dokumenti za naše podrijetlo hrvatskoga preporoda (1790–1832). Zagreb, 1933.
- 16. Djela Matije Antuna Relkovića. Satir iliti divji čovik. Zagreb, 1916.
- 17. Данилова А.В. Просвещение в хорватской литературе (писатели Славонии второй половины XVIII в.) // Литература эпохи формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. Просвещение. Национальное возрождение. М., 1982.
- 18. Matić T. Život i rad Vida Došena // Djela Vida Došena . Zagreb, 1969.
- 19. Jeka planine, koja na pisme Satira i Tamburaša slavonskoga odjekuje i odgovara // Djela Vida Došena. Zagreb, 1969.
- 20. Ađaja sedmoglava bojnim kopjem udarena i nagrađena // Djela Vida Došena. Zagreb, 1969.
- 21. Лещиловская И.И. Научная мысль в Хорватии и Славонии в XVIII в. // Славянский альманах. 2009. М., 2010.



© 2011 г. М.В. БЕЛОВ

СЛАВЯНСКАЯ ТЕМА В ПУТЕВОМ ДНЕВНИКЕ П.И. КЕППЕНА: ОТ СЕНТИМЕНТАЛИЗМА К РОМАНТИЧЕСКОЙ ЭТНОГРАФИИ

Славянские страницы путевого дневника П.И. Кеппена (1822 г.) анализируются в статье с точки зрения описательных моделей и «поэтики поведения» автора. Установки романтической этнографии привносились в просвещенческий и сентиментальный либерализм Кеппена в общении с деятелями «славянского возрождения».

In the article, the Slavonic pages of P. I. Keppen's travel diary (1822) are analyzed from the perspective of descriptive patterns and the «poetics» of the author's behavior. It shows how Keppen's enlightening and sentimental liberalism – following his interactions with the members «Slavonic revival» – was tempered by the principles of romantic ethnography».

Ключевые слова: П.И. Кеппен, литература путешествий, славянская этнография, русская общественная мысль

В начале XIX в. в русской путевой прозе и деловой переписке было выработано два основных варианта восприятия балканских реалий: сентименталистский концепт «благородного дикаря» и неоклассицистское обращение к «славянской антике». Второй вариант питался метафорой Спарты либо образами былинной старины. Ни один из названных вариантов не давал достаточно адекватного и глубокого проникновения в местный мир (см. подробнее [1]; ср.: [2]). Отсутствие необходимых для этого «наблюдательных инструментов», вероятно, следует связывать с молодостью этнографической науки, периферийностью «крестьянской темы» в русской общественной мысли того времени и спецификой текущего этапа развития литературной традиции. Этнографический интерес путешественников и способность увидеть сходство крестьянских обычаев в России (Малороссии) и у зарубежных славян в начале XIX в. – еще большая редкость¹. Ситуация медленно менялась на протяжении 1820-х годов. К этому времени относится начало знаменитой дискуссии о народности в литературе [6. C. 289, 405–442; 7. C. 350–374; 8. С. 190-193, 214-255], нарастает интерес к славянской тематике в периодической печати, в деятельности ученых «румянцевского кружка» и т.д.

Белов Михаил Валерьевич – д-р ист. наук, доцент, зав. кафедрой Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

¹ Й.А. Калоева приводит пример Ф.П. Лубяновского (путешествие 1800−1802 гг.), указавшего на близость чешских обычаев к обычаям Малороссии, и М. Бобровского, подчеркнувшего славянские обычаи в Далмации в статье 1824 г. [3. С. 183, 199]. К такому исключению следует отнести и записи А.С. Кайсарова, сделанные во время путешествия по Южной Венгрии [4. С. 71−77, 89−94]. Кайсаров, испытавший влияние одного из ранних проводников идеи «славянской взаимности» карловацього митрополита С. Стратимировича, уже тогда оперировал термином «братья» в отношении своих славянских корреспондентов: «О любезнейшие сербы! пишите скорее и больше [...] пишите свои грамматики и словари, чтобы заставить не только северных братьев своих, но и всю Европу узнать вас» [5. С. 695].



Славянские страницы путевого дневника П.И. Кеппена неоднократно становились предметом внимания исследователей [9-12]. Вместе с тем к указанным работам вполне применимо наблюдение П.С. Куприянова: «Текст "путешествия" рассматривается лишь как вместилище более или менее ценных этнографических (литературно и научно-исторических. – M.Б.) фактов, как средство передачи информации, которое никак не влияет на саму информацию и потому не является помехой в процессе познания ученым этнографической действительности. Ввиду того, что представления путешественника не рассматриваются как существенный фактор в производстве научного знания, процесс формирования и функционирования этих представлений не становится актуальной задачей исследования и эпистемологическая ситуация путешествия не проблематизируется» [2. C. 23]. Преодоление рудиментов «наивного реализма» в изучении литературы путешествий связано, очевидно, с выяснением «устройства взгляда» наблюдателя. Помимо образования и познавательной мотивации на него оказывают влияние особенности характера, жизненный опыт, социальный статус и стратегии (или поэтика) поведения.

Петр Иванович Кеппен (1793–1864) родился в Харькове в семье немецкого врача, перебравшегося в Россию по приглашению Екатерины II в конце XVIII в. Его мать, в девичестве Шульц, также происходила из семьи немцев, принявших русское подданство. Лютеранин по вероисповеданию, будущий славист формировался в двуязычной среде и унаследовал сложную идентичность. Многодетная семья Кеппенов рано лишилась кормильца и, начиная с тринадцати лет. мальчик служил в Харьковской губернской чертежной. Окончание этико-политического отделения Харьковского университета совпало со временем патриотического подъема, вызванного Отечественной войной 1812 г. Под влиянием Руссо и Шеллинга Кеппен пережил, по словам его сына-биографа, «период бури и натиска». Формирующим элементом этого жизненного состояния был культ юношеской дружбы, освещенной клятвой благородного служения отечеству и высоким книжным идеалам². Кеппен обосновывает свой выбор в пользу чиновной карьеры с отказом от пути ученого-теоретика тем, что «благо и счастье ближних может быть обосновано и увеличено только при благоустроенных государственных порядках» [13. C. 27].

Перебравшись в 1814 г. в Петербург под покровительство родственников по материнской линии, он поступил на службу в надежде реализовать эту цель, писал политико-философские сочинения, в том числе трактат, порицающий рост дворянства. Однако скромный пост чиновника почтового департамента в министерстве внутренних дел не предполагал подобных подвигов. Мир строгой бюрократической иерархии, усложненной протекцией и аристократическими связями, остужал юношеские мечты и выталкивал амбициозного молодого человека в поле литературных и научных занятий³. Расставанием с юностью стала смерть бли-

²В письме В.Ф. Титареву (октябрь 1813 г.) Кеппен писал: «О дабы навеки нас связывало это благородное и возвышенное чувство! Тебе, любимый мой, моя дружба, а отечеству моя жизнь!» По сообщению биографа, после летних каникул 1812 г. Кеппен написал полувыдуманный роман в духе гетевского «Вертера» [13. С. 26–27, 34–35. Прим 1. С. 28].

³ Вступление в Вольное общество любителей российской словесности в 1816 г., по-видимому, еще рассматривалось как путь в ряды просвещенной государственной элиты: на заседаниях общества Кеппен читал политические трактаты. Сближение с членами «румянцевского кружка» в конце 1810-х годов усилило концентрацию на ученых занятиях. Научно-литературная деятельность дарила надежду на альтернативный способ реализации юношеских идеалов. «Наконец я опять перерождаюсь в человека, начинаю живее чувствовать и пленяться предметами, меня окружающими, – записал Кеппен в 1817 г. – Вот уже три года, как я перестал сладостно мечтать о будущем; блаженные лета, проведенные мною в университете, исчезли» [13. С. 38].

жайшего друга (В.Ф. Титарева) в 1816 г., с которым Кеппен попрощался в двух сентиментально-возвышенных текстах [13. С. 33]⁴.

Если верить сыну-биографу, именно в этот период духовного надлома Кеппен начал задумываться о том, чтобы выбраться за границу. Еще в 1815 г. он надеялся занять временную должность в Германии. В 1820 г. старший коллега и будущий тесть Кеппена Ф.П. Аделунг рекомендовал его А.Л. Нарышкину, собиравшемуся в заграничное путешествие, в качестве компаньона, однако тот остановил свой выбор на В.К. Кюхельбекере. И вот в 1821 г. отставной поручик А.С. Березин пригласил Кеппена сопровождать его в путешествии по Австрии, Италии, Швейцарии, Франции, Англии, Бельгии, Голландии и Германии, рассчитанном на тричетыре года⁵. Маршрут предполагавшегося путешествия был традиционным для тогдашнего русского дворянина, постигающего европейскую премудрость сначала по книгам, а затем – вблизи, в живом общении с учеными и философами, обозревая памятники культуры и поклоняясь ее святыням. Литературный образец подобного путешествия был дан Н.М. Карамзиным в его знаменитой книге [14]. Между тем, планам путешественников, из-за болезни и ранней смерти Березина, суждено было осуществиться лишь отчасти. Поскольку наиболее обстоятельно они успели обследовать Австрийскую империю, в этом путешествии обнаружился неожиданный для подобных предприятий славянский крен.

Длительная поездка за границу переживалась Кеппеном как окончание прежней жизни, своего рода бегство, чуть ли не «на тот свет» (вероятность не вернуться из путешествия живым, как показывает судьба Березина, действительно существовала). С некоторым удивлением или горькой иронией Кеппен наблюдал себя как бы со стороны и вспоминал принца датского. «Посетив могилу своего друга и сделав в 5 дней более 120 прощальных визитов, я стал окончательно распоряжаться своими делами. Оставляя столицу и отечество года на четыре, надлежало расторгнуть все прежние связи. Разлука, особливо, долговременная сходствует с кончиною, и воспоминания о прошедшем подобны тем сновидениям, которые, по мнению Гамлета, мы можем иметь, уснувши беспробудно [...] Бесконечные хлопоты притупили память и чувства; я прикладывался к добрым приятелям и знакомым, к несносным мне лицам почти с одинаковым расположением или, лучше сказать, почти без всякого расположения» [13. С. 53]⁶.

Разочарованный или, точнее, чуть охлажденный идеалист («прекрасная душа»), склонный к рефлексии, научившийся соблюдать дистанцию, в том числе в отношении самого себя, сравнивать увиденное, слушать, не вступая в спор, а затем

4 Славяноведение, № 1



⁴В речи по случаю 50-летия научной деятельности Кеппен вспомнил свой период «бури и натиска», с элегическим оттенком констатируя: «Богатые мечты моей юности о пользе, которую я могу принести России, далеко не осуществились. Время и обстоятельства низвели меня из мира идеального в мир вещественный; они показали мне всю разность между надеждами и исполнением» (цит. по [11. S. 104]).

⁵ 22 мая 1821 г. в маклерской конторе было заключено соглашение, согласно которому Березин обязывался выплачивать Кеппену 933 руб. серебром ежегодно, взять на иждивение квартиру и стол для него, а тот — быть спутником и участником ученых упражнений. При этом главным занятием должна была стать история, поскольку «нельзя знать народ, не зная его истории». Березин надеялся, что они с Кеппеном сумеют подружиться, и обещал приложить все усилия, чтобы спутник не раскаялся в предпринятом путешествии [13. С. 51–52].

⁶ Исследователи связывали подобную эскапистскую тенденцию с тем, что «в России [18]20-х годов усиливался бюрократический гнет, обскурантизм, гонения на всякое свободомыслие, поднимала голову реакция во главе с тогдашним министром духовных дел и народного просвещения кн. А.Н. Голицыным и его верным помощником мракобесом М.Л. Магницким» [12. С. 68]. Даже если это слишком прямолинейное объяснение, следует признать, что довольно расплывчатое патриотическое воодушевление с примесью либерализма под протекцией государства к концу 1810-х годов сходило на нет, уступая дорогу в сфере политической активности оппозиционной конспирации или откровенному охранительству. Исследовательница истории «Арзамаса» называет точную дату и событие, означавшее крах проекта консервативной модернизации – финал Аахенского конгресса осени 1818 г. [15. Гл. 11].

записывать в тетрадь, оказался хорошим наблюдателем. По-видимому, этим объясняется стабильный интерес исследователей к дневникам Кеппена, хранящимся в Петербургском филиале архива РАН. Однако, как указывалось, позитивистская инерция вела к «потребительскому» использованию почерпнутых в нем сведений. И никогда заметки Кеппена не ставились в контекст иных свидетельств и наблюдательных моделей.

Кеппен продолжил традицию путешествия с книгой в руке⁷. Такая стратегия диктовала справочный, энциклопедический интерес, который поверялся живыми впечатлениями и непосредственным чувством. Сентименталистский порыв, направляемый книжными ориентирами, мог порой завести слишком далеко. 17 июня 1822 г., пользуясь путеводителем Ф. Шамса, Кеппен исследовал Петроварадинскую крепость: «Я пошел на верхний крепостной вал, к Часовой башне. Какая чудесная картина представилась отсюда глазам моим. Все окрестности величественного Дуная мелькали предо мною при заходящем солнце. Служивый, поведший меня на другую сторону крепости по валу, однако, спросил меня, не инженер ли я. Крепость неприступна; она построена на серпантинной горе и окружена глубокими валами» [16. Л. 12].

По возвращению из поездки по фрушкагорским монастырям Кеппен узнал, что «вчера [21 июня] живописец (А.С. Березин, делавший зарисовки крепости. – М.Б.) нейзацким городским начальством был задержан, а на наших паспортах эти господа находили сомнительными собственноручные подписи канцлера князя Когари». Для выяснения обстоятельств путешественники отправились к главнокомандующему на петроварадинской линии фельдмаршал-лейтенанту Зигентали (Сигенфельду), который вспомнил бои под началом Шварценберга, где действовал против русского графа (тогда барона) Сахена Комендант крепости сообщил главнокомандующему о русском, который был на крепости и расспрашивал об окрестных местах. Кеппен узнал в нем себя с Шамсом в руках. «Ибо Бог знает, кому мы показываем крепость», — заметил солдат, водивший Кеппена по валам и заподозривший в нем «аншенера» [16. Л. 24—24об.]. Для Березина эта история счастливо закончилась обедом у главнокомандующего.

Книжные истины не во всем согласовывались с увиденным, но надо было иметь некоторую смелость, чтобы признать это. Гуляя ранним утром по Нови Саду, Кеппен «видел, что уже около 5 часов лавки бывают открыты, и в них встречаешь хорошо одетых девиц». Сверяясь с Шамсом, путешественник допустил, «может быть, [он] слишком много предосудительного говорит о сем городе» [16. Л. 24]. Это единственный случай несогласия с Шамсом в дневнике Кеппена: репутацию Нови Сада спасли девицы.

Литературно-языковые, историко-географические и культурно-политические интересы Кеппена сочетались с увлечением этнографией, чему способствовал опыт сотрудничества с членами «румянцевского кружка», а также общение с сербским собирателем фольклора В.С. Караджичем. Их знакомство завязалось во время пребывания последнего в России в 1819 г. [17]¹⁰. Кеппен имел солидный опыт путешествий по России еще с харьковского периода, когда он осмотрел юж-

⁷Свои впечатления от Славонии он сверял с описанием Я. Чапловича («Slavonien und zum Theil Croatien». Реšta, 1819). А по прибытии в Петроварадин путешественник взялся за руководство Ф. Шамса («Topografische Beschreibung von Peterwardein und seinen Umgebung». Pest, 1820) [16. Л. 2., 11об. и др.; 12. С. 70, 82].

 $^{^{8}}$ Нейзац — немецкое название Нови Сада, расположенного напротив Петроварадинской крепости.

⁹В 1812 г. барон Г. фон Зигенталь командовал пехотной дивизией в составе австрийского вспомогательного корпуса князя К.Ф. Шварценберга. Барон Ф.В. Остен-Сакен командовал корпусом в армии А.П. Тормасова.

¹⁰9 июля 1822 г. в Темишваре, куда Кеппен прибыл в сопровождении Караджича, путешественник записал в дневнике: «Вук все еще имеет свою синюю овчинную шубу, в которой приехал в Петербург и которой один клочок оставил у Аделунга в доме» [16. Л. 48].

ные губернии. В дневниках путешествия по славянским землям мы найдем немало этнографических зарисовок, где местные обычаи сравниваются с обычаями крестьян на Украине, в России и Лифляндии¹¹. При этом убеждение в родстве предшествовало знакомству: «Приветствую тебя, величественная, быстрая Драва, отделяющая меня от Славонии! Там, по ту сторону вод твоих, живут мирные жители, коих обычаи во всем сходствуют с обычаями русскими», — записал Кеппен 2 июня 1822 г. [16. Л. 2]¹².

Однако сопоставление не гарантировало полного понимания местных культурных навыков: сходства констатировались с удовлетворением, особенности же отвергались как чужие, неславянские. Путешественник часто приглашал крестьян для исполнения народных песен, но порой он оставался не удовлетворенным их искусством. Тексты песен южных славян были знакомы по публикациям Караджича, но их мелодика ничуть не походила на русские напевы: «Песни их были так единообразны, что несносно было их слушать. Каждый стих повторяли тою ж мелодией. Я 4-х раз г. Юратовичу уверял, что это собственно турецкая (т.е. босная) мелодия; к тому же девки кричали во все горло и резким до чрезвычайности [голосом]. Песни сии, кои слова нам были довольно понятны (одна относилась к реке Драве), они пели, взявши друг друга за бока руками и образуя круг» [16. Л. 7об.]¹³. Таким образом, традиционное коло (народный танец с исполнением песен) разочаровало путешественника.

Интерес к хозяйственному и бытовому укладу, проявленный путешественником, мог быть привит в Харьковском университете, где Кеппен слушал статистику. Кроме того, он стимулировался личными обстоятельствами, поскольку семья ученого не знала полного достатка: практическая сметка с юности сочеталась у него с возвышенными мечтами. Путешественник нередко акцентировал внимание на уровне жизни и занятия местных крестьян. Переночевав в Беничанце 8 (20) июня в бедной избе местного кнеза («сельского старосты или судьи»), Кеппен записал: «На дворе играли голые дети, что здесь обыкновенно. В избе под печью висела рыба, которая здесь коптилась. Вообще в Славонии роскошь не известна. Эта страна, изобилующая лесами и полями, на коих сеют кукурузу и хлеб и косят сено, но денег очень мало, еще менее, нежели в Венгрии» [16. Л. 4]. В другом месте Кеппен вкушал угощение зажиточного крестьянина: цицвари из яиц, кукурузной муки и каймака (сливок). Конечно, не деликатес, но при этом крестьянин «имеет порядочную комнату и при ней кухню и коммору или кладовую, житницу, винокурню, амбары, для складки ракии (водки) и пр.» [16. Л. 8] (ср. [12. С. 73]). Путешествуя по фрушкогорским монастырям, Кеппен не забывал сделать запись о кукурузе, которой вокруг «довольно», и сливе, из которой делают водку – сливовицу [16. Л. 14]. А возвращаясь из Стражилова, куда к целебному источнику путешественников сопровождал сам митрополит Стефан Стратимирович, Кеппен рассматривал местные стога или скирды сена и то, каким инструментом их разрезают, даже зарисовал его на полях тетради [16. Л. 29об.].

Этнографические наблюдения увязываются у Кеппена с природными и «нравственными» особенностями. Так он сравнивал рост местных лошадей и рогатого скота с ростом жителей, и пришел к выводу: они друг другу под стать — невысокие

¹¹На этот момент обратили внимание исследователи [12. С. 71–73]. В то же время нельзя согласиться с указанными авторами в том, что Кеппен, поездивший до выезда за границу по России, совсем не выбивался из строя, так как практика путешествий была характерной чертой дворянского воспитания. Как уже было сказано выше, венцом такого воспитания являлось именно *заграничное* путешествие, которое сам Кеппен себе позволить не мог. Этнографические зарисовки и российские аллюзии Кеппена в славянском дневнике см., например [16. Л. 2, 4, 506., 9 и др.].

¹² Эта мысль внушена книгой Чапловича, где в предисловии указаны и другие авторы, сравнивающие Славонию с Россией.

¹³В другом месте Кеппен наблюдал народный танец, по поводу которого с радостью заметил: «Этот танец очень сходствовал с нашим козачком» [16. Л. 9].

[16. Л. 5об.]. «Кажется мне, что можно в Венгрии принять следующую классификацию жителей оной, судя по опрятности и образу жизни их: 1) немцы, 2) кроаты, 3) словаки, 4) венгры, 5) словены (но в белье они опрятнее венгров), 6) русняки» [16. Л. 4]¹⁴. Шкала цивилизованности составлялась на глазок. Для русского немца Кеппена хотя бы один критерий был очевиден, и в смысле опрятности его сородичи оказывались вне конкуренции. Но стремление выявить какую-либо шкалу национальностей по уровню их развития само по себе весьма показательно.

Просвещенный европеец, Кеппен по прибытии в пограничный Землин (Земун) отдал дань саркастической критике турецкого деспотизма. 23 июня, рассматривая «тот берег» с австрийской стороны, он записал в дневнике: «Солнце величественно взошло над землею мусульманскую, — взошло, чтобы озарить новую брань христианства с исламизмом. Там, за дунайскими струями — царство Деспотизма и попирания прав человеческих. Видите ли крепостные стены? Это Белград, [место] пребывания паши, имеющего права весить (т.е. вешать. — M.Б.), отсекать головы, сажать на кол без суда, без всякой ответственности. Но долженствующего и в свою очередь быть ежечасно в ожидании видеть посланника Дивана, являющегося к нему с шелковой петлею. И там живут люди? Там, где нет следов естественного права, права священнейшего в мире. Какая же может быть там образованность, просвещение, спокойствие и счастье? Нынешний паша — человек добрый, таков был и его предшественник, но второй перед ним был варвар, который в день казнил смертью до 15 человек и истребил лучших сербов, дерзнувших вспомнить, что они люди» [16. Л. 30].

Прямолинейность оценок Кеппена, вероятно, отчасти обусловлена суждениями карловацкого митрополита С. Стратимировича, с которым путешественники общались накануне¹⁵, во всяком случае, когда речь заходила об отсутствии просвещения в турецких землях, что предполагало всеобщее неблагополучие. Кроме того, эти оценки были заданы университетской подготовкой и самовоспитанием периода «бури и натиска», внушившими автору дневника убеждение в священных естественных правах человека. Поэтому все казненные властью паши автоматически причисляются к людям, помыслившим о собственном достоинстве. К тому же координаты высказываний Кеппена совпадают с европейской литературной традицией в изображении Савы и Дуная как границы, отделяющей Европу от Азии, царство свободы от царства деспотизма: это своего рода топос путевых заметок первой половины XIX в. (см., например [18]).

В отличие от своего спутника Кеппен не жалел, что путешественникам было отказано наведаться в Белград. Более того, он, в отличие от Березина, проигнорировал приглашение земунского коменданта проехаться на лодке по Саве, чтобы осмотреть турецкую крепость вблизи¹⁶. Автор путевого дневника, поясняя свои мотивы и подтверждая доводы «против», пересказал случай, поведанный не ли-

¹⁶«А.С. [Березин] сожалел очень, что не может быть в самом Белграде – а мне, не желавшему за компанию посидеть на коле, – это было вовсе безобидно» [16. Л. 30].

¹⁴Кроаты – это хорваты, словены – жители Славонии, очевидно, сербы, а русняки – русины [12 C 73]

¹⁵ Кеппен дважды 18 и 22 июня гостил в Сремских Карловцах, получил там радушный прием. Во второй раз путешественник «отправился [на обед] к митрополиту, которого однако, по затруднению достать лошадей, застал уже за столом. Не взирая на сие, он принял меня благосклонно. Спрашивал, почему мы не были у него вчера за обедом, ибо он ожидал нас, и у него обедали главнокомандующий и майор Кавенгилих (царской крови!), которые просили его для себя приготовить несколько скоромных блюд (не взирая на то, что это было в среду), он удивился, что мы так скоро объехали все монастыри» [16. Л. 25]. Общение с противником Караджича, «славенофилом» С. Стратимировичем ничуть не повредило дружбе Кеппена с реформатором сербского языка, поскольку в Карловцах русский путешественник прилежно играл роль незаинтересованного исследователя. Встречи и разговоры со Стратимировичем, Л. Мушицким и П.Й. Шафариком достаточно подробно, с обильным цитированием изложены в статьях исследователей [10. С. 13−15. 12. С. 74−82]. Кеппен надеялся увидеться с историком и писателем, затем основателем «Сербской летописи» Г. Магарашевичем, но будучи в Нови Саде 22 июня дважды не застал его дома [16. Л. 24].

шенным юмора комендантом: «Он спрашивал, нет ли с нами астрономических инструментов для определения положения Землина. За несколько лет пред сим приезжал в Землин вехабит, уроженец варварийских земель [алжирских?], который делал здесь наблюдения. Он родственник алжирского дея и воспитывался в Париже. Когда он стал делать наблюдения в Белграде, то народ почел его колдуном, и он едва ли был бы спасен, если бы не имел хорошей рекомендации к самому паше» [16. Л. 30об.]. И действительно, отправляясь в путешествие, Кеппен и Березин запаслись барометрическими приборами [12. С. 72], поэтому они вполне могли также прослыть колдунами.

Тональность повествования о турецких землях напоминает иронически-презрительную стратегию дневника предшественника — А.С. Кайсарова [4. С. 77]. Как и он, Кеппен симпатизировал освободительной борьбе сербов Белградского пашалыка. Ироническая тональность дневниковых записей в этом случае сглаживается, почти исчезая, чтобы смениться сдержанным одобрением.

После обеда у коменданта путешественник наблюдал стоявших за решетками в карантине белградцев. На следующий день, 24 июня, в 10 утра вместе со спутником, завершившим к этому времени речную экскурсию, он снова направился в Парлаторию: «Сербы обращали на нас внимание. Один старик именно для того приходил в трактир, чтобы видеть, не похож ли кто из нас на императора Александра, которого он, однако, не видел [...] Все вообще ожидают спасения от России и единоверных с ними греков, которым они рады пособить [...] Белградцы в карантине спрашивали карант[инных] служителей, кто мы таковы, и им отвечали, мы приезжие из Вены. Но жители Землина все знали, что мы русские. Для тогото нас более и не пустили в Белград, чтобы на сербов не произвели какого-либо впечатления. Паша о нашем прибытии, по словам коменданта, должен был уже знать сегодня» [16. Л. 30об.—31]¹⁷. Таким образом, внутренние мотивы отказа от путешествия в Турцию (презрение к деспотизму и чувство опасности) осложнялись политическими обстоятельствами.

25 июня путешественники погрузились на корабль, чтобы спуститься вниз по Дунаю в Оршову. Балансируя на границе, Кеппен предался роли праздного наблюдателя. Казалось, природа почти вытеснила из сознания «политику». Сентиментальному либералу пришлось проплыть и мимо Белграда, «значительной крепости, но не представляющей отличного вида. Мы расположились на палубе, — продолжал автор дневника, — или на крыше нашей каюты и любовались тихоструящимся Дунаем и разнообразием его берегов, из коих сербские вообще приятнее цесарских. Острова на Дунае почти все без исключения принадлежат Австрии или региментам, т.е. пограничным полкам» [16. Л. 31об.]. Последнее обстоятельство давало ощущение безопасности.

Впечатления А.С. Березина от этой поездки отразились в стилизованных под дружеское послание «Письмах о Венгрии», публикация которых состоялась с подачи Кеппена. При некоторых отличиях в деталях можно констатировать единство сентименталистской стратегии (где красоты природы дополняются успехами просвещения) и стереотипов «косного Востока» в текстах двух авторов. Березин, в частности, заметил: «В этих местах Дунай кажется путешественнику границей Европы» [19. С. 51–52]. Он сожалел об упущенных возможностях турецких сербов, не знающих промышленности и торговли, в то время как на австрийском берегу повсюду видно деятельное движение. У стен белградской крепости «мрачные мысли рождались в уме твоего друга; при виде сих стен, сих укреплений, за коими господствует всевластно, подобно владыке сей страны, мертвая тишина как в нравственном, так и в физическом мире. Лишь изредка виделись два,

¹⁷Тут же Кеппен сделал попутную этнографическую заметку: «Сербский костюм – восточный. Мужи ходят с бритыми головами как прежние запорожцы (гайдамаки и чумаки). Женщины и летом в полушубах».



три турка: одни сидели, поджав ноги, и курили трубки; другие лениво вели купать лошадей своих; некоторые удили рыбу или, лежа на траве, следовали глазами за течением солнца. Глядя на них, я думал, что вижу одушевленную картину беспечности; пасшееся невдалеке стадо буйволов придавало ей более жизни» [19. С. 30–31]. Картина «мертвецкого сна» турецкой империи вставала перед читателем в виде призрачно скользящей на расстоянии литературной декорации.

Во время вынужденной остановки близ Панчево путешественники спешились на австрийский берег, где к русскому подошел некий серб в немецком платье, чтобы переговорить с ним наедине. Кеппен сделал в дневнике подробную запись рассказа, передав скорее смысл, нежели форму его выражения: «Смотрите на ту плодоносительную, богатейшую землю, она имеет все кроме порядочного правительства, христиане там в угнетении – от Петервардейна в до Оршовы все радо сбросить с себя иноверческое иго. Все и самой князь [Милош Обренович] готовы освободиться, но не знают, как и что начать. Россия в бездействии. Греки, которые некогда нам не пособили, а нам вредили в дни наших страданий¹⁹, теперь просят нашей помощи, уверяя, что и Россия примет их сторону. Верить ли им? Сербы имеют 70 полков каждый до 2000 человек и около 40 000 человек приходят к ним на помощь единоверным из австрийских владений. Последним никто этого возбранить не может [...] Со времени последней войны сербы имеют пушки и ружья со штыками, коими снабдили их русские. Сих-то не выдают они туркам и вот чем поддерживают свою свободу. Во всей Сербии нет ни единого турчина. Князь Милош [Обренович?] поселился в горах и лесах, и ко Крагоевиче²⁰ неприятель приступить не может [...] Турки занимают одну только крепость по берегу Дуная. Белград теперь они укрепили..., но и сего в один день не будет, если дойдет до дела. В нем с купцами едва более 3 000 турок, [от] которых избавиться нетрудно. Турки, проходя через Сербию, нигде не останавливаются, а особливо ночевать. Их сей час отправляют на тот свет, и следов их отыскать никто не может [...] Двенадцать главнейших лиц сербских (в том числе мой тесть) содержится в Константинополе – порукою, – но это не остановило бы подвигов народа сербского. Я сам был капитаном (ротмистром) во время последней войны и спас Родофиникина, которого я тайком увез водою из Белграда в Панчево, так что и сам Черный Георгий²¹ сего не знал²². Я молчал, – добавляет Кеппен от себя, и вновь передает слово сербу. – При Милоше много²³ греков; он сам безграмотен, но есть у него люди, знающие европейские языки. Все ему преданы. Недавно одного из его секретарей Никол[аев] ича казнили смертию за то, что пало на него подозрение в сношениях с каким-то пашою [албанским?]²⁴. Нельзя было доказать, что он действительно виновен, но политика того требовала, чтобы он был казнен смертию. Я знаю права и законы европейские, но там иное дело. Я сам недавно был у Милоша. Никто этого не знает, и я не могу винить его в преступлении» [16. Л. 31об–32].

Сербский собеседник Кеппена – непростая фигура. Он одет в немецкое платье, знает европейские законы и близок ко двору князя Милоша. Все это указывает на статус чиновника, переселившегося из Австрии. При этом он утверждает, что участвовал в восстании 1804—1813 гг. в чине капитана и даже спас Родофиникина

¹⁸ Петроварадин, в современном Нови Саде.

¹⁹ Речь идет о «фанариотском заговоре», популярной легенде, объясняющей причины поражения сербского восстания 1804—1813 гг. См. [20. С. 247—290].

²⁰В Крагуевце находилась резиденция Милоша Обреновича, предводителя второго восстания (1815 г.), закончившегося введением фактической автономии для сербов Белградского пашалыка.
²¹Карагеоргий.

²² К. К. Родофиникин – русский дипломатический представитель в Белграде в 1807–1809 гг. Очевидно, имеется в виду отъезд русской миссии во время турецкого наступления 15 августа 1809 г. ²³ Вставка нрзб.

²⁴ Речь идет о «заговоре» секретарей Н. Николаевича и Л. Тодоровича, выступивших с критикой княжеского правления. Первый из них был убит 21 января 1822 г., очевидно, по распоряжению Милоша (см. [21. С. 518–547])

от гнева Карагеоргия, а это скорее уже говорит о его «сербиянском», т.е. турецком происхождении²⁵. Собеседник демонстрирует осведомленность в политике и, более того, его речь производит впечатление зондажа или даже провокации с целью выяснить настроения русского путешественника, о целях поездки которого ему было мало известно. «Мое молчание заставило его умолкнуть, — сообщает Кеппен, добавляя. — Он говорил как патриот. Мог ли чужеземец останавливать поток красноречивых, пламенных чувствований и слов. Я сам, может быть, на своем месте чувствовал то же самое. Да храни Бог Россию!» [16. Л. 32]. Восприняв услышанные слова как искренний порыв и мудро промолчав, Кеппен при случае не преминул проверить информацию о численном потенциале сербских сил²⁶.

В рассказе сербского «патриота», даже если предположить, что Кеппен не все правильно понял, явно присутствует склонность к завышению, которую путешественник счел следствием экзальтации. А вот рассказ о заговоре Николаевича вообще выбивается из темы разговора. Здесь собеседник Кеппена выступил как адвокат Милоша и изложил официальную версию причин его «суровости». Возможно, он надеялся таким образом донести эту версию и вообще позитивный образ сербского князя до Петербурга.

26 июня, проезжая мимо Семендрии (Смедерево), путешественники пили кофе, подмешивая в него желток вместо молока, и курили трубки: «на турецкой границе жили по-турецки» [16. Л. 33; 19. С. 35]. Испытание восточной негой воспринималось как карнавальная забава. Между тем, граница диктовала достаточно жесткие правила игры: «Вера в Славонии и Сербии очень много значит. Как русского меня неоднократно причисляли к исповедующим греческую веру. К чему было сему противиться?» [16. Л. 39об.]. Действительно, объяснять свое лютеранство было бы в этой ситуации совершенно неуместным. Ощущая дистанцию, Кеппен наблюдал себя в невыбранной роли.

Добравшись до Оршовы 3 июля, он все же решился в сопровождении корабельных спутников ступить на турецкий берег, чтобы навестить местного пашу. Путешественники скрылись под французскими именами (еще одна возможная роль). Паша был рад: «О, это наши приятели, ответствовал он!» Кеппен стал участником церемонии с непременным чубуком и кофе, а в дневниковом описании турецкого приема вернулся к знакомому ироническому стилю. Паша много шутил, обещал мужчин отпустить, а дам оставить у себя в гареме. В конце встречи он одарил всех гостей склянками с розовым маслом. Но на выходе его служители вычистили карманы путешественников, вытребовав деньги для раздачи милостыни, бакшиша. Турецкие улицы поразили грязью. Еще более удивили лица женщин, закутанных, даже у старух, по самые глаза [16. Л. 40об.—41об.]. Участие в экзотическом спектакле не могло породить серьезного интереса.

Гораздо ближе по культурным ожиданиям был для Кеппена австрийский берег. 8 июля, получив письмо от Караджича, он отправился в Панчево, чтобы навестить своего сербского друга, гостившего у купца-мецената Демелича. Его дом впечатлил путешественника образованностью: дети говорили по-гречески, по-немецки и по-итальянски. К тому же здесь впервые Кеппен услышал, «как благовоспитанные дамы говорят по-сербски». Но особенно умилило покровительство купца сербской литературе. На деньги Демелича для собирателя фольклора в Панчево строился дом в несколько комнат. А пока шло строительство, Караджич мог жить у

²⁵ Сербиянцы – сербы, проживавшие на территории Османской империи.

²⁶ Спустя две недели 9 июля по дороге из Панчево в Темишвар Кеппен имел долгую беседу с Караджичем «о сербах-славянофилах и вообще о сербском народе, который, по его словам, имеет около 30 с небольшим (а не 70 полков) и может выставить более 40 000 человек, что касается до тех, которые из австрийских владений приходят на помощь сербам, то Вук сомневается и в том, чтобы из них когда-либо приходило более 1000 вооруженных сил, еще столько могло переходить по разным промышленностям, ибо сии, говорит он, не имеют уже воинственного Духа своих народов» [16. Л. 47].

него «сколько захочет» [16. Л. 46–47]. Путь европейского прогресса, расцвета литературы и наук под сенью деятельных людей виделся открытым и безоблачным.

Разрушение «поэтики» гражданского романтизма в результате душевного кризиса, пережитого Кеппеном во второй половине 1810-х годов, привело к отчужденному взгляду на самого себя и адаптивным стратегиям ролевого поведения [22. С. 233–254]. Заграничное путешествие соответствовало полусознательному стремлению забыть или восполнить утрату. При этом наиболее комфортной маской оказывалась роль не вовлеченного в происходящее наблюдателя. Избавившись от тягостной обязанности соответствовать в делах своим идеалам, Кеппен, конечно, не мог освободиться от прежних убеждений, систему которых следует определить как просвещенческий и сентиментальный либерализм. Установки романтической этнографии привносились в эту систему, прежде всего, в общении с деятелями «славянского возрождения». Они не заняли в период заграничной поездки центрального положения в мировоззрении Кеппена. Нейтральная позиция препятствовала способности погружения, а практическая сметка сочеталось порой с грубо натуралистическими выводами. Кеппен молчаливо солидаризировался, сделав соответствующую запись в дневнике, с патриотическим пафосом турецкого серба-попутчика. Однако более глубокое проникновение в балканский мир под властью султана было закрыто для путешественника не только внешними препятствиями, но и собственными предрассудками.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. *Белов М.В.* Русские путешественники и дипломаты на Балканах в начале XIX века: поиск языка описания // Политическая культура и международные отношения в Новое и новейшее время. Нижний Новгород, 2009.
- 2. *Куприянов П.С.* Представления о народах у российских путешественников начала XIX в. // Этнографическое обозрение. 2004. № 2.
- 3. *Калоева И.А.* Изучение южных славян в России в конце XVIII начале XIX века // Труды Библиотеки Академии наук и Фундаментальной библиотеки общественных наук АН СССР. М.;Л., 1963. Т. 7.
- 4. Путешествие А.И. Тургенева и А.С. Кайсарова по славянским землям в 1804 г. // Архив братьев Тургеневых. Пг., 1915. Вып. 4.
- Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук (ОРЯС). СПб., 1897. Т. 62.
- 6. *Трубицын Н*. О народной поэзии в общественном и литературном обиходе первой трети XIX века. Очерки. СПб., 1912.
- 7. Пыпин А.Н. История русской этнографии. СПб., 1891. Т. 2.
- 8. Азадовский М.К. История русской фольклористики. М., 1958. [Т. 1].
- 9. *Потепалов С.Г.* О роли П. Й. Кеппена в истории русско-славянских культурных связей // Вопросы славянского языкознания. М., 1962. Вып. 6.
- 10. Потепалов С.Г. Путешествие П.Й. Кеппена по славянским землям // Из истории русско-славянских литературных связей XIX в. М., 1963.
- 11. Зайцева А.А. П.И. Кеппен и Словакия (Из истории русско-словацких культурных связей первой половины XIX века) // Słovenská a ruská literatúra. Bratislava, 1973.
- 12. *Цейтлин Р.М., Никулина М.В.* П. И. Кеппен и его путешествие по Сербии и Хорватии и соседним с ними землям // Зборник за славистику. Нови Сад, 1979. Кв. 17.
- 13. Кеппен Ф.П. Биография П. И. Кеппена // Сборник ОРЯС. СПб., 1911. Т. 89. № 5.
- 14. *Лотман Ю.М., Успенский Б.А.* «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры // *Лотман Ю.М.* Карамзин. СПб., 1997.
- 15. Майофис М. Воззвание к Европе: Литературное общество «Арзамас» и российский модернизационный проект 1815—1818 годов. М., 2008.
- 16. Петербургский филиал архива РАН. Ф. 30. Д. 138 (Кн. IV).
- 17. Дмитриев П.А., Сафронов Г.И. Сербия и Россия (страницы истории культурных и научных связей). СПб., 1997.
- 18. *Кингелејк А.В.* Од Земуна до Ниша // Британски путници о нашим крајевима у XIX веку / Избор, превод и поговор Б. Момчиловић. Нови Сад, 1993.
- 19. Соревнователь просвещения и благотворения. 1823. Ч. XXII.
- 20. Белов М.В. У истоков сербской национальной идеологии: специфика формирования и механизмы развития (конец XVIII середина 30-х гг. XIX века). СПб., 2007.
- 21. Гавриловић М. Милош Обреновић. Београд, 1909. Књ. 2.
- 22. Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. СПб., 2002.



© 2011 г. Н.Ю. СУХОВА

РАДОСЛАВ РАДИЧ И МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ

Радослав Радич (Емилиан) был единственным из сербских студентов, обучавшихся в российских высших духовных учебных заведениях, удостоенный ученой степени доктора богословия. Судьба Радича является интересной страницей учебных связей Сербии и России.

Radoslav Radic (Emilian) was the only Serbian student trained at Russian higher ecclesiastical educational institutions, who was awarded with the academic degree of Doctor of Theology. The destiny of Emilian Radis is an interesting page in the educational interactions between Serbia and Russia.

Ключевые слова: православная духовная академия, доктор богословия, сербские студенты в России.

В истории российской духовной школы есть страница, представляющая интерес для истории просвещения в целом: обучение в российских духовных школах представителей других поместных Церквей. Начиная с середины XIX в., сербские, болгарские, черногорские, румынские, греческие, сирийские юноши составляли особый разряд студентов духовных школ России. Судьбы этих студентов складывались с большими или меньшими трудностями, их деятельность становилась историей, с одной стороны, российской духовной школы, с другой, — истории их Церквей.

Настоящая статья посвящена одному из сербских студентов духовной школы в России – Радославу фон Радичу, в монашестве Емилиану. Духовно-учебные связи России и Сербии в последние годы привлекают внимание и сербских, и русских исследователей. Особый вклад в изучение этой темы вносят современные сербские студенты российских духовных школ [1–3].

Герой данной статьи — единственный из всех сербских студентов русских духовных академий — получил в Московской духовной академии высшую ученую степень — доктора богословия. История отношений о. Емилиана (Радича) с русской духовной школой представляет интерес и для исследователей отечественного духовного образования, ибо документы, запечатлевшие главные моменты этой истории, ярко отражают специфику православных духовных академий в России в 1870-х — начале 1880-х годов. Источниковой базой для данного исследования послужило сохранившееся в архиве МДА личное дело Радослава (Емилиана) фон Радича [4], а также журналы заседаний Совета МДА и отчеты МДА за соответствующие годы¹.

¹ Далее в тексте духовные академии обозначаются принятыми аббревиатурами: СПбДА – Санкт-Петербургская духовная академия, МДА – Московская духовная академия, КДА – Киевская духовная академия, КазДА – Казанская духовная академия.



Сухова Наталия Юрьевна — канд. ист. наук, доцент Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Для лучшего понимания особенных черт учебной и научной судьбы Радича необходимо несколько слов сказать о духовно-учебных связях России и Сербии. Традиция обучения сербских представителей в русских духовных школах была заложена еще в XVIII в.: так, Киевская академия дала образование нескольким десяткам сербских студентов [5. С. 173–174]. Однако в 1840-х годах эта традиция получила новое развитие. Митрополит Петр (Йованович) (1833–1859), уделявший особое внимание духовному образованию, смог воспользоваться улучшением положения Сербии, а именно, полученной в 1830-1831 гг. политической и церковной автономией [6. С. 110]. В 1836 г. в Белграде была открыта Белградская школа богословия или Клирикальное белградское училище. Однако обеспечить уровень образования своими силами было невозможно. В 1846 г. митрополит Петр отправил первую делегацию в Киевскую духовную семинарию: шесть лучших выпускников Белградской школы богословия [7–8; 3]. Двое из этих юношей – Милойе Йованович (будущий митрополит Михаил) и Василий Николаевич – по окончании семинарии в 1849 г. были приняты в Киевскую духовную академию на полное казенное содержание и стали первыми сербскими студентами российских академий после их преобразования в начале XIX в. [7; 9. Л. 1–1об.] «Полное казенное содержание» включало обучение студентов в академии, проживание в общежитии, обеспечение питанием, одеждой и всем необходимым. Подразумевалось, что русские студенты отработают потом эти затраты своим духовно-преподавательским или духовным служением [10. С. 917; 11. С. 170]. Для представителей других православных Церквей это была помощь, оказанная «с целью поддержать православие в тамошнем крае» [9. Л. 1об.]. Важно, что в обучении двух первых сербских «академиков» приняла участие и Московская академия: если Милойе Йованович окончил полный четырехлетний академический курс в КДА, то его однокурсник Василий Николаевич летом 1851 г., после окончания низшего отделения, подал прошение о переводе в МДА [9. Л. 1–4]. Аргумент, приведенный Николаевичем, был патриотичен: отечество отправило его в Россию для получения образования, причем рекомендовало завершить это образование «в одной из столиц Российской империи» [9. Л. 3-4]. Разрешение Святейшим Синодом было дано, причем Николаевич закончил академию на год раньше Йовановича, в 1852 г. [9. Л. 5–6]. КДА делала выпуски по нечетным годам, а МДА – по четным, и Николаевичу разрешили пройти двухлетнее высшее отделение академии за один год. Он окончил академию во втором разряде, со степенью кандидата богословия, будущий митрополит Михаил – в первом разряде, со степенью магистра богословия. Это были первые ученые степени, полученные сербскими посланцами в российской духовной школе. Интересно, что через год после Николаевича таким же путем, через КДА, попал в МДА его соотечественник Николай Новакович. Но он, в отличие от своего предшественника, продлил срок обучения: отучившись один год в высшем отделении КДА, он просил разрешить ему пройти полный двухлетний курс высшего отделения МДА [12. Л. 1–1 об.]. Это разрешение также было дано, несмотря на увеличение на год и его казенного содержания. Новакович также окончил МДА с ученой степенью кандидата богословия [12. Л. 6].

Духовно-учебные командировки сербского юношества продолжались и при митрополите Петре, и при его преемнике митрополите Михаиле. С этого времени и вплоть до 1917 г. КДА и МДА, а затем и СПбДА (с конца 1850-х годов) и КазДА (с начала 1890-х годов) принимали в ряды своих студентов сербское юношество, присылаемое епископатом или приезжавшее в Россию по собственной инициативе. У посланцев поместных Церквей, в том числе, Сербской, были особые пожелания и к своему образованию, и к режиму его прохождения. Некоторые из них просили о переводе из одной академии в другую, разрешении сдать переводные экзамены в неурочное время — раньше или позже общих сессий, отсрочить подачу семестровых или выпускных сочинений, освободить от каких-либо предметов

или, напротив, разрешить слушать дополнительно. По возможности и академическое начальство, и Святейший Синод старались идти навстречу, если это не мешало общему порядку российской духовной школы. 11 марта — 9 апреля 1869 г. было издано определение Святейшего Синода о студентах-иностранцах, обучающихся в русских духовных школах. В нем, в частности, указывалось на необходимость особого отношения к таковым: «Поставить в известность начальствам всех духовно-учебных заведений, чтобы они поступающим в эти заведения иностранцам оказывали возможное снисхождение как на приемных и выпускных экзаменах, так и во время прохождения наук, не стесняясь требованиями уставов сих заведений» [4. Л. 2]. Это определение распространялось на представителей Сербской церкви, как и на всех иностранных студентов академий.

Однако Радослав Радич отличался от всех предшествующих сербских студентов российских духовных академий и своим происхождением, и уровнем образования, и целенаправленностью, и конкретностью научных стремлений. Он принадлежал к особой части Сербской церкви, находившейся на территории Австро-Венгрии и получившей в 1710 г. автокефалию от Сербской (Белградской) церкви [6. С. 114]. Австро-Венгерская – Карловацкая – часть Сербской церкви также имела в середине XIX в. серьезные проблемы с духовным образованием и очень нуждалась в богословах-специалистах. В Сремских Карловцах действовала Православная сербская богословия, основанная еще в 1794 г. митрополитом Стефаном (Стратимировичем) (1790–1836) [6. С. 115]. Но если с задачей подготовки образованного духовенства Карловацкая Богословия так или иначе справлялась, говорить о хорошем научно-богословском уровне выпускников не приходилось. Поэтому епископат Сербской церкви в Австро-Венгрии старался решать эту проблему также методами «образовательных командировок». Граждане Австро-Венгрии имели возможность получить образование в европейских университетах, прежде всего, австрийских и немецких. Но это было католическое или протестантское образование, что для богословия имело принципиальное значение. Для решения актуальных церковных проблем и для повышения уровня преподавания в Карловацкой Богословии нужны были серьезные специалисты в области православного богословия.

Радослав фон Радич был представителем сербской семьи, получившей австрийское государственное дворянство за заслуги на полях сражений. Он родился в г. Белая Церковь и получил школьное образование в Венгрии. Отец Радослава Радича, офицер в австрийской армии, скончался в военном походе в Италии в 1866 г. Радослав остался на попечении матери и дяди, епископа Вершецкого Емилиана [4. Л. 77–77об.]. Когда юноша окончил гимназию, его дядя летом 1874 г. обратился в Святейший Синод Православной русской церкви с просьбой принять его племянника в МДА «на счет сумм Святейшего Синода». Разрешение было дано указом Святейшего Синода от 19 сентября 1874 г., на содержание Радослава Радича было выделено 180 руб. в год из суммы (2 000 руб.), отчисляемой русским Синодом ежегодно в пользу Белградской семинарии [4. Л. 1–2]. Однако указ был ошибочно отправлен в Сербию, а не в Венгрию, и достиг епископа Емилиана слишком поздно. Кроме того, правительство Венгрии, неодобрительно смотревшее на поездку своего православного подданного в Россию, чинило препятствия. Поэтому Радослав, решив не терять времени, поступил на юридический факультет королевского Геттингенского университета [4. Л. 5-7об.]. В течение года он слушал лекции по католическому и протестантскому церковному праву, а также по истории ветхозаветного канона, церковной истории, политической истории древних римских пап и религиозной философии, и в 1875 г. получил степень кандидата канонического права [4. Л. 4].

Но Сербской церкви нужен был специалист по православному церковному праву и истории Православной церкви – как для решения многочисленных проблем,

связанных с непростым положением православных сербов в Венгрии, так и для преподавания в сербских православных школах. Поэтому осенью 1875 г. ходатайство в МДА о приеме Радослава Радича было повторено. Однако теперь повзрослевший и более сориентированный в богословии Р. Радич сразу конкретизировал свой учебный план. В течение двух лет он хотел изучать только церковное право и церковную историю с добавлением догматического богословия, а затем получить ученую степень и свидетельство о праве преподавания этих наук в учебных заведениях [4. Л. 7]. Ситуация была нестандартная: академии и раньше шли навстречу иностранным студентам, но все же те сохраняли основной учебный план. Тем более, избранное изучение наук трудно было реализовать в 1875 г., когда российские духовные академии жили по уставу, принятому в 1869 г. [13]. Согласно этому уставу студенты первых трех курсов обучались на одном из трех отделений – богословском, церковно-историческом, церковно-практическом. По этим же отделениям распределялись преподаватели, согласно занимаемым кафедрам. Студенты четвертого курса готовились к магистерскому экзамену и к преподаванию в семинариях по одной из восьми групп предметов. При этом догматическое богословие, церковная история и церковное право принадлежали к разным отделениям и к разным группам предметов [13. С. 552–553]. Поэтому студент, желавший изучать именно такой набор дисциплин, «выпадал» из системы отделений и общего порядка обсуждения всех учебных и научных вопросов. По ходатайству Совета МДА, поддержанному Московским митрополитом Иннокентием (Вениаминовым), Святейший Синод дал разрешение на такой учебный план, «принимая в уважение особые обстоятельства». Но таким образом Р. Радич был поставлен в положение «постороннего слушателя», который по окончании обучения мог получить лишь свидетельство о способности преподавать избранные предметы в сербских учебных заведениях [4. Л. 9–12].

В конце первого года обучения Р. Радич сдал успешно экзамены по церковной истории и церковному праву и начал готовить диссертацию на степень магистра богословия. Но когда по завершении второго года обучения он подал свою диссертацию на немецком языке и пожелал получить за нее степень магистра богословия, причем избежав публичной защиты, Синод отказал. На отказе настаивал учебный комитет при Синоде, ибо предложенный Радичем вариант нарушал уставные положения и создавал прецедент получения ученой степени «вне всяких правил». В указе Синода от 10 марта 1877 г. было выделено четыре нарушения действующего устава 1869 г. Во-первых, степень магистра богословия могла быть получена только после степени кандидата богословия, причем не ранее чем через год. Во-вторых, как уже отмечалось выше, предмет специализации Р. Радича принадлежал к разным группам предметов магистерского экзамена, не «покрывая» ни одну из них. В-третьих, вызывало недоумение представление диссертации на немецком языке в русской духовной школе. Наконец, получение магистерской степени без публичной защиты допускалось только в крайних случаях, связанных с церковным служением, в данном же случае такой необходимости ни Учебный комитет, ни Синод не усматривали [4. Л. 21–25].

Однако Р. Радич подготовился и сдал магистерские экзамены еще по восьми предметам академического курса, охватившим сразу несколько групп магистерского экзамена. Затем он представил рукописный вариант магистерской диссертации на немецком языке — «Устройство Православно-кафолической церкви у сербов в Австро-Венгрии. Т. 1: Высшее церковное управление», — которая получила положительную оценку профессора МДА по кафедре церковного права А.Ф. Лаврова-Платонова. Рецензент отметил, что сочинение замечательно «по зрелости взгляда, строго православному направлению, обширной эрудиции, строго научному методу» [4. Л. 78]. Получив свидетельство, удостоверявшее право преподавать

все предметы, по которым был выдержан магистерский экзамен, Р. Радич в июне 1877 г. отбыл на родину [4. Л. 26–28].

В ноябре того же 1877 г. Радослав Радич представил в Совет МДА 12 печатных экземпляров своей диссертации с просьбой присудить за нее степень магистра богословия без публичной защиты [14]. В сопроводительном письме указывалось, что автор посвящает свой труд ректору МДА архимандриту Михаилу (Лузину), любимым профессорам В.Д. Кудрявцеву-Платонову, С.К. Смирнову, А.Ф. Лаврову-Платонову и всему Совету МДА. Р. Радич исполнял к этому моменту множество ответственных церковных служений: члена-экзаменатора Учебного комитета Сербской церкви в Австро-Венгрии, ординарного профессора церковного права и пастырского богословия в Богословской коллегии и редактора единственного православного духовного журнала в Венгрии «Богословское обозрение». Таким образом просьба об освобождении от публичной защиты была обоснованной, к тому же подкреплена ходатайством его дяди епископа Емилиана (Радича) перед Святейшим Синодом: разрешить Совету МДА присудить магистерскую степень его посланцу «по причине церковной необходимости» [4. Л. 37–38]. Разрешение было дано, степень присуждена без публичной защиты, и указом Святейшего Синода от 15 февраля 1878 г. Радич был утвержден в степени магистра богословия [4. Л. 39–43]. В январе 1879 г. Радослав Радич был пострижен в монашество с именем Емилиан, в честь дяди, был рукоположен в диакона и назначен патриаршим архидиаконом и профессором патриаршего Богословского института в Карловцах. Это дало ему основание просить Совет МДА исходатайствовать ему магистерский крест, который давался лицам священного сана [15. C. 115–116].

В октябре 1879 г. магистр богословия и архидиакон Емилиан (Радич) вновь прибыл в Россию. Сербский Карловацкий патриарх Прокопий (Ивачкович) и «собор всех преосвященных епископов Православной церкви в Венгрии» командировали его, как одного из «самых даровитых представителей православной науки в Австро-Венгрии», в Россию для соискания ученой степени доктора богословия. Дополнительное ходатайство было послано в Святейший Синод и оберпрокурор Синода граф Д.А. Толстой просил Московского митрополита Макария (Булгакова) обратить на сербского посланца особое внимание, оказать покровительство и по возможности содействовать ему в научных устремлениях [4. Л. 48– 50]. Времени на получение докторской степени выделялось немного – всего год, ибо на больший срок патриарх не мог отпустить своего ближайшего сановника. На новом этапе деятельности о. Емилиан ставил перед собой широкие задачи. Он сдал дополнительные экзамены практически по всем предметам академического курса, которые не сдавал раньше: Священному Писанию Ветхого и Нового заветов, библейской истории, церковной археологии и литургике, метафизике, логике, психологии, истории философии, педагогике, общей гражданской истории, словесности и истории литературы, древним языкам. В его просьбе о замене магистерского диплома на новый, с указанием всех сданных экзаменов, Синод отказал, но разрешил выдать свидетельство о праве преподавания этих дисциплин [4. Л. 52–61].

Однако в декабре того же 1879 г. правительство Австро-Венгрии удалило патриарха Прокопия от патриаршего престола. Архидиакон Емилиан считал необходимым возвратиться на родину для исполнения возложенных на него обязанностей. Тем не менее, в июле 1880 г. архидиакон Емилиан представил в Совет 30 экземпляров сочинения на соискание степени доктора богословия, снова на немецком языке: «Устройство православно-сербских и православно-румынских поместных Церквей в Австро-Венгрии, Сербии и Румынии. Кн. 1: Устройство православно-сербской поместной Церкви в Карловцах» [16]. Автор просил дать научную оценку его исследованию и подарить от его имени всем наставникам

академии по экземпляру диссертации — с благодарностью за обучение. Одновременно он представил в Синод 100 экземпляров сочинения — для рассылки в библиотеки духовных академий и семинарий. Согласно действующему уставу духовных академий 1869 г. докторские диссертации также должны были защищаться публично (§ 145) [13. С. 554]. Однако Сербская церковь ходатайствовала перед Синодом о присуждении архидиакону Емилиану, в случае положительной оценки его сочинения, докторской степени опять без публичной защиты [17. С. 115–118]. Указом Синода от 15 сентября 1880 г. Совету МДА было дано разрешение принять к рассмотрению диссертацию на немецком языке и, в случае соответствия ее для степени доктора, присудить автору искомую степень без публичной защиты [17. С. 211].

Отзыв на сочинение архидиакона Емилиана составлял доцент МДА по кафедре церковного права Н.А. Заозерский. Оценка была достаточно высока. Автор диссертации знал устройство родной Церкви и проблемы, сопряженные с ее пребыванием в Австро-Венгрии, как по документам, которые не могли быть доступны внешнему исследователю, так и по опыту собственной деятельности в правительственных церковных кругах. Знание церковного права разных конфессий давало возможность смотреть на канонические вопросы широко и проводить сравнительный анализ важнейших конфессиональных особенностей церковной структуры и церковного управления. Церковно-практическое отделение МДА, рассмотрев отзыв Н.А. Заозерского и проверив его чтением важнейших мест самого сочинения, признало диссертацию удовлетворительной для докторской степени [17. С. 210– 211]. Ходатайство Совета МДА, представленное в Синод московским митрополитом Макарием (Булгаковым), было передано на рассмотрение Учебного комитета. Комитет дал положительное заключение, и указом Святейшего Синода от 16 февраля 1881 г. архидиакон Емилиан (Радич) был утвержден в степени доктора богословия без публичной защиты, с препровождением в Совет МДА для него докторского креста [4. Л. 68–72; 18. С. 25–26]. В мае того же года новый доктор богословия благодарил академию за высокую честь, прилагая к своей благодарности пожертвование – 100 руб. в фонд Братства преподобного Сергия для нуждающихся студентов МДА.

На этом история отношений сербского доктора богословия с российской духовной школой завершилась. Московская духовная академия, как и три остальных академии, неоднократно принимала в дальнейшем сербских посланцев – как из Сербии, так и из Австро-Венгрии. Однако таких высоких научных успехов не достиг ни один из них.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. *Платон (Йович), иером.* Священномученик Платон (Иованович), епископ Банялуцкий. Автореферат. дисс. ... канд богословия. Сергиев Посад, 2008.
- 2. Феофан (Шкобо), иером. История Сербской Православной Церкви второй половины XIX в. по русской периодической печати. Автореферат дисс. ... канд. богословия. Сергиев Посад, 2009.
- 3. Феофан (Шкобо), иером. Сербский митрополит Михаил и Россия во II половине XIX века // http://www.bogoslov.ru/text/print/382370.html
- 4. ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Радич Радослав (архидиакон Емилиан) (личное дело студента).
- 5. Костящов Ю.В. Сербы в Австрийской монархии в XVIII веке. Калининград, 1997.
- 6. Скурат К.Е. История Поместных православных церквей. М., 1994. Т. 1.
- 7. Воскресенский Г.А. Высокопреосвященный Михаил, архиепископ Белградский, митрополит Сербский // Богословский вестник. 1898. Т. І. № 2. С. 260–275.
- 8. *Карасев А.В.* Православная церковь и процессы складывания сербской нации в XIX веке // http://www.inslav.ru/konf_rubg04.html
- 9. ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 2656. Николаевич Василий Милутанович (личное дело студента).
- 10. Устав православных духовных училищ, Высочайше утвержденный 30 августа 1814 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. СПб., 1830. Т. XXXII. № 25673. § 41.

- 11. *Филарет (Дроздов), митр*. Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского, по учебным и церковно-государственным вопросам, изданное под редакцией преосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского: В 5 т. СПб., 1885. Т. II.
- 12. ЦИАМ. Ф. 229. Оп. 4. Д. 2724. Новакович Николай (личное дело студента).
- 13. Устав православных духовных академий, Высочайше утвержденный 30 мая 1869 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. СПб., Т. XLIV. 1873. № 47154.
- 14. Die Verfassung der orthodox-katholischen Kirche bei den Serben in Oesterreich-Ungarn. I Theil: Das oberste Kirchenregiment. Prague, 1877.
- 15. Журналы заседаний Совета Московской духовной академии за 1879 год. Сергиев Посад, 1880.
- 16. Verfassung der orthodox-serbischen und orthodox-rumänischen Particular-Kirchen in Oesterreich-Ungara, Serbien und Rumänien. Praga, 1880. I Buch: Die Verfassung der orthodox-serbischen Particular-Kirche von Karlovilz.
- 17. Журналы заседаний Совета Московской духовной академии за 1880 год. Сергиев Посад, 1881.
- 18. Журналы заседаний Совета Московской духовной академии за 1881 год. Сергиев Посад, 1882.

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Славяноведение, № 1

Революционная Россия 1917 года и польский вопрос: Новые источники, новые взгляды. М., 2009. 336 с.

Непростые отношения России и Польши привлекают особенное внимание к совместным научным проектам, открывающим перспективы конструктивного диалога. Учитывая, что корни современных противоречий во многом кроются в перипетиях исторического взаимодействия двух стран, еще большую актуальность представляет обращение к поворотным моментам российскопольских отношений, к каковым, бесспорно, относится возрождение независимого польского государства на развалинах Российской, Германской и Австро-Венгерской империй. В совокупности причин, обусловивших столь благоприятное и радикальное решение польского вопроса в 1918 г., внешние факторы – Первая мировая война и российские революции 1917 г. – сыграли значимую, если не решающую роль.

Предлагаемый вниманию научного сообщества труд российских и польских ученых из столичных академических институтов, а также Московского и Торуньского университетов – результат работы международной научной конференции, приуроченной к 90-летию российских революций. В этой связи, понятной является цель сборника - показать взаимосвязь революционных процессов в России и решения польского вопроса, который авторы сборника понимают весьма широко, включая в комплекс проблем и обретение независимости, и определение формы государственного устройства, и оформление границ, и последующие взаимоотношения с советской Россией и СССР. Вторая по счету крупная юбилейная дата после методологического перелома в исторической науке обеих стран явилась импульсом к новому всплеску дискуссий о сущности и роли Февральской и Октябрьской революций и в то же время показала переход к более взвешенному осмыслению исследуемых процессов. Книга «Революционная Россия 1917 года и польский вопрос» под редакцией М. Волоса и А.М. Орехова иллюстрирует подобный подход. Авторы, пользуясь современными методами исследований, утвердившимися и новыми источниками, выстраивают обдуманную, аргументированную и плюралистическую концепцию переломных процессов 1917 г. и их последствий.

Сборник состоит из трех частей: по общим вопросам польско-российских взаимоотношений, событиям Первой мировой войны и Февральской революции, Октябрьской революции и Гражданской войне. Однако, как свидетельствует анализ работ, единой позиции по поводу сущности событий октября 1917 г., в отличие от «демократической революции», у польских и российских ученых нет. Если российские участники дискуссии однозначно признают их революционными по характеру, то ученые из Польши определяют как «Октябрьский переворот» (с. 121) или избегают конформулировок, используя цептуальных нейтральную фразу «победа большевиков в ноябре 1917 г.». Вместе с тем и польские и российские ученые по замыслу и последствиям единодушно признают события 1917 г. в России масштабными, значимыми, переломными. Варшавский профессор Э. Дурачинский, статья которого открывает сборник, причисляет победу большевистской партии к ключевым событиям мировой истории (с. 7). Имеет смысл обратить внимание на то, как этот польский историк раскрывает этапы, внешние и внутренние факторы формирования «империи Сталина», ее слабые и сильные стороны, подчеркивая роль советско-польской войны 1920 г. в провале программы мировой революции (с. 10). Самым же важным достижением «советской сверхдержавы», по мнению Э. Дурачинского, следует считать ее вклад в победу над третьим рейхом. Особенности польской критики сталинизма как следствия Октябрьской революции выявляет и российский историк В.В. Волобуев в статье «Западные социал-демократы об Октябрьской революции в России (интерпретация польских социологов в 1956 году)». Указанные статьи сборника – частный пример неугасающего интереса исследователей обеих стран к феномену Октябрьской революции, а продемонстрированное отсутствие однозначных подходов и оценок ее сущности и влияния еще раз доказывают научную значимость и политическую востребованность польско-российской научной акции, предпринятой в Москве в ноябре 2007 г. и ставшей ее итогом книги.

В числе авторов рецензируемого сборника корифеи российской исторической полонистики, исследовательский опыт которых позволил сконцентрировать интерес на узловых теоретических проблемах польско-советских отношений в контексте российских революций. В частности, этапы развития польской и советской историографии влияния Октября на польское национальное движение ярко и эмоционально описаны И.С. Яжборовской, по мнению которой всплески активизации «научного видения проблемы» происходили во время «оттепели», «гласности» и в наши дни (с. 28). Личное участие автора в описываемых событиях - многолетней идейной борьбе в формировании научной концепции - вызывает неподдельный интерес к статье. С.М. Фалькович в своей обзорной статье доказывает, что процесс восстановления независимого Польского государства, который следует рассматривать в тесной связи национального и социального движений, был длительным и охватил «по крайней мере три российские революции», а возрождение Польши стало возможным благодаря сочетанию всех внутренних и внешних факторов (с. 27).

Особенностям политики советизации Польши после Второй мировой войны посвятила свое исследование А.Ф. Носкова, которая называет переход к строительству социализма в Польше по сталинскому об-

разцу «вторым пришествием Октябрьской революции» (с. 304). Данная работа, как и ряд других в издании, подтверждает широкое понимание составителями сборника проблемы воздействия российских революций на Польшу, охватывающее тематически многообразный и хронологически диверсифицированный спектр польско-советских отношений.

Исследование Г.Ф. Матвеева привлекает внимание нетрадиционной интерпретацией известных документов и направлено на пересмотр историографической традиции, отдающей предпочтение обращению Петроградского совета перед воззванием Временного правительства по польскому вопросу. По мнению автора, отсутствие опыта государственного управления у чле-Петросовета, руководствовавшихся «текущими, сиюминутными политическими соображениями», провоцировало ряд конфликтов Польского государства с Россией (с. 86). В то же время позиция Временного правительства, исходившая из национальных интересов России, заключалась в объединении поляков трех государств с «учетом этнического, а не исторического принципа» при условии соединения Польши военным союзом с Россией (с. 89–90). Тем самым учитывались национальные интересы и условия безопасности России.

В обстоятельной статье И.В. Михутиной «Кто готовил советизацию Польши в 1918 году?» затронута проблема революции в Польше как одного из звеньев в цепи мирового пожара, который должен был разгореться из большевистской искры исходя из идеологических и оборонных мотивов, а также утилитарной потребности выживания советской власти (с. 261). Автор, по сути, единственный из российских историков - участников дискуссии, который пытается не только показать воздействие событий в России на политическое решение польского вопроса, но и обнаружить след поляков в революционных процессах. Тщапроработанный документальный архивный материал позволил И.В. Михутиной раскрыть сущность весьма оптимистической позиции, а также действий группы польских революционеров во главе со Станиславом Бобиньским, показать причины краха идеи польской революции. В отличие от большевистского центра, которое «в тот период считало национальные части необходимыми и полезными для установления советской власти в очищаемых от оккупации областях», польские революционеры

территориально-интернапровозглашали циональный принцип формирования вооруженных сил и настояли на том, чтобы дивизия, состоящая из польских частей, получила название «Западной». Такой подход, по предположению И.В. Михутиной, объясняется претензиями С. Бобиньского (комиссара Западной дивизии) и его сподвижников на литовские и белорусские земли (с. 266). Стремление польских социалдемократов получить военную помощь из Москвы для поддержки польской революции натолкнулось на отсутствие достаточных вооруженных сил у республики Советов в условиях Гражданской войны, что, по мнению автора статьи, «заморозило» реализацию планов экспорта революции в Польшу (с. 271). К тому же в самой Польше события развивались не по пути социальной конфронтации, а в направлении национально-государственного единства. Тем не менее польские революционеры разработали детальный план по перегруппировке и стягиванию польских частей со всех фронтов и занялись агитационной деятельностью. Расхождение планов польских и российских революционеров привело к тому, что в итоге С. Бобиньский был выведен из Реввоенсовета Западной армии и планы советизации Польши постепенно сошли на нет.

Большинство польских авторов, составляющих треть авторов сборника, сосредоточилось на теме участия поляков в революционных событиях на территории России.

Формирование Войска польского в Сибири на фоне происходящих здесь событий революции и Гражданской войны детально прослеживает в своей работе Я. Висьневский из Торуньского университета. По оценкам автора к концу Первой мировой войны на территории восточной части европейской России и в Сибири находилось 200—300 тыс. поляков с разной политической ориентацией, но объединенных идеей восстановления польского государства.

Постоянный представитель Польской академии наук в Москве М. Волос посвятил свое исследование сформированной Ю. Пилсудским еще в 1914 г. Польской военной организации (ПВО). На материалах Российского государственного военного архива он анализирует состав и деятельность Киевского центра (ГУ 3), который имел базы на Украине, в Крыму, на черноморском побережье и Кавказе в 1917–1918 гг., когда главным направлением деятельности организации декларировалась вооруженная подпольная пропагандистская поли-

тическая борьба против Германии и Австро-Венгрии. Несмотря на хаос, вызванный на территории России и Украины революциями, и получение финансовых средств для своей деятельности, пилсудчики не достигли намеченных целей. Они не смогли распространить свое влияние на польских солдат российской армии, добиться организованной переброски польских корпусов на территорию освобождающейся Польши, убедить представителей Антанты в искренности своих намерений. Поэтому автор справедливо оценивает результаты деятельности ГУ 3 ПВО как скромные (с. 213). Вместе с тем он акцентирует внимание на том, что, занимаясь накоплением информации о немецких и австрийских войсках, «белых» и «красных» частях российской армии, а также анализом политики противостоящих группировок, участники ПВО заложили основы польской разведки, криптологии, дипломатической службы, проработали вопросы формирования будущей армии, в том числе военного флота. Кроме того, деятели ГУ 3 ПВО, многие из которых в будущем заняли высокие посты в независимой Польше, имели возможность лично оценить воплощение большевистских идей и возможность их дальнейшей реализации.

Судьба польских участников Октябрьской революции является предметом многолетних исследований варшавского историка А. Коханьского, который напоминает о роли видных революционеров польского происхождения (Ф. Дзержинский, И. Уншлихт, Ю. Мархлевский, К. Радек, В. Воровский и многие другие) в создании советского государства. По мнению автора, антипольская политика Сталина началась уже в 1931 г., а в 1937 г. шло уже планомерное физическое уничтожение поляков в СССР. Отдавая должное проведенному при участии А. Коханьского установлению численности «польских интернационалистов», участвовавших в Октябрьской революции, а также погибших и отправленных в лагеря поляков, едва ли можно согласиться с правомерностью вычленения национальных факторов в политике репрессий 1930-х годов в СССР.

Профессор Торуньского университета В. Роман представила в сборнике комментарии и воспоминания польского дипломата и политика К. Трембицкого о Февральской революции в прекрасном переводе М.В. Лескинен. Ценность документа в том, что он дает возможность увидеть происходящее в 1917 г. глазами рядового участника

событий, понять как из «балагана», «анархии» и «хаоса» демократической революции рождался советский колосс.

Обращает на себя внимание основательная архивная база многих работ польских авторов, чаще тяготеющих к эмпирическим исследованиям, которые органично дополняют общетеоретические статьи российских коллег. Подобные различия в подходах к выявлению и освещению проблем отражают характерные черты польской и российской исторических школ.

Существенно расширяет проблемное поле сборника статья российского специалиста по истории Первой мировой войны Г.Д. Шкундина, раскрывающая малоизвестные аспекты болгаро-польских отношений в 1915-1918 гг. Благодаря деятельности софийского бюро по печати польского Главного национального комитета, как убедительно доказывает автор, болгарская общественность и правительство стали проявлять заметный интерес к решению польского вопроса при помощи Габсбургов. Опираясь на российские и зарубежные архивные материалы, скрупулезный анализ болгарской прессы, собственные интервью Г.Д. Шкундин восстанавливает палитру пропольских настроений болгарских общественных и политических деятелей, определяя симпатии к полякам как «явные, глубокие и искренние» (с. 80). Вместе с тем автор делает верные выводы: болгары могли оказать полякам скорее моральную, чем реальную поддержку. Несмотря на это он подчеркивает ответный жест благодарности поляков, выразившийся в установлении с потерпевшей поражение в войне Болгарией официальных дипломатических отношений раньше других молодых государств Центральной и Юго-Восточной Европы. В контексте рассматриваемых вопросов историк не мог обойти сюжет выдвижения на престол Королевства Польского Кирилла Преславского, второго сына болгарского царя. Несмотря на то, что кайзер Вильгельм II, как и польский Регентский совет не рассматривали кандидатуру всерьез, Фердинанд, как полагает автор, все же надеялся сыграть на противоречиях между Берлином и Веной.

Решение польского вопроса предполагало размежевание польских и российских территорий, что, в свою очередь, неизбежно затрагивало интересы других народов, проживающих на западных окраинах Российской империи. Поэтому вполне логичным является включение в сборник работ, посвященных белорусскому (Д. Михалюк) и украинскому (Е. Борисенок) национальному движению. Актуальность исследования белорусского и украинского вопроса в ракурсе представленного в книге аспекта российско-польского взаимодействия заключается не только в проблемах признания и оформления этнических и государственных границ, но и в необходимости прояснения того, почему для народов, живущих рядом, последствия войны и революций оказались разными. Представляется, что для полной реконструкции контекста межнациональных отношений на западных окраинах Российской империи, неотъемлемых от процесса формирования польского государства, в сборнике, предлагаемом вниманию читателя, явно не хватает статьи, анализирующей литовские проблемы.

Политические аспекты польско-российской исторической взаимосвязи органично дополняются культурологическими исследованиями. В частности, многообразное влияние Октябрьской революции на польскую литературу 1920-х годов исследует известный российский филолог В.А. Хорев. Несомненно, «вздыбленный мир революционной России» стал мощным стимулом для творчества польских писателей, как критиков, так и апологетов левой идеологии. В.А. Хореев анализирует механизм революционного переворота и пророческий прогноз его последствий в «Сапожниках» С.И. Виткевича, идейные искания С. Жеромского, художественные эксперименты польских футуристов (Б. Ясенский, А. Стерн, А. Ват). Повествует не только о творчестве, но и о трагической судьбе пролетарских творцов В. Вандурского Я. Гемпеля, С.Р. Станде, противопоставлявших классовую и национальную литературу. Оценивая новаторские формы революционной поэзии, автор выделяет В. Броневского за верность польской поэтической традиции. В целом, по мнению автора, для польских сторонников Октябрьской революции была характерна ее идеализация.

Факторы, определившие специфическое восприятие России польским гражданским обществом 1918—1939 гг., пытается выделить в статье А.В. Липатов. Автор подчеркивает, что интерес к методам и средствам модернизации в СССР, нашедший отражение в прессе и публицистике, был обусловлен собственными схожими проблемами, а непосредственное соприкосновение с реальностью большевизма и Красной армией способствовало отличию польского

восприятия советской России от западноевропейского. Важным обстоятельством, формировавшим особенности видения русских и России поляками, по оценке автора, являлось также их более чем вековое взаимосуществование. В итоге, как указывает А.В. Липатов, антисоветские настроения польского гражданского общества не отождествлялись с русофобией и для него были характерны прорусские симпатии. К сожалению, достаточного документального подтверждения теоретическим обобщениям В.А. Липатова в данной статье не приводится.

Объектом исследования М.А. Крисань является национальное самосознание крестьянства Царства Польского, уровень зрелости которого определяется на основе изучения прессы для народа. Тщательный анализ источников, тем не менее, не позволил автору сделать определенные выводы о степени готовности крестьян к политической трансформации.

Разнообразие подходов, включающих методы исторического, социологического, историографического и литературоведческого анализа является несомненным достоинством книги, позволяет придать сборнику современное звучание и выявить новые грани поставленной проблемы.

Проблема взаимного влияния процессов 1917 г. в России и достижения независимости поляками не относится к числу малоизученных, но авторам удалось найти новые аспекты, открыть неизвестные документы, сделать шаг в направлении преодоления устоявшихся в науке представлений, сблизить позиции ученых двух стран, продемонстрировать пример объективного осмысления совместного прошлого. Надо надеяться, что книга привлечет внимание специалистов в России, Польше и за их пределами, а также станет стимулом дальнейших исследований сложных проблем российско-польских отношений.

© 2010 г. О.В. Петровская

Славяноведение, № 1

Новейшие книги по ключевым событиям чехословацкой истории второй половины XX века (тематический обзор)

Знаковыми для истории Чехословакии являются 1968 и 1989 годы. Неудивительно в этой связи, что историография за последние два года обогатилась новыми, причем фундаментальными трудами, посвященными двум ключевым в этой истории событиям: Пражской весне 1968 г. и «бархатной» революции 1989 г. Своеобразие каждой из этих дат вполне объяснимо, но все же обзор литературы, им посвященной, позволяет сделать вывод: они охватывают хронологические маркеры старта и финала «режима нормализации», заключающего последний – двадцатипятилетний, а также период семидесятипятилетней истории Чехословакии. Такое новое, достаточно полно обоснованное видение широкого контекста указанных дат присуще и словацким, и чешским историкам (историкам уже отходящей современности: Чехословакии как государства после 1 января 1993 года не существует), равно как и рассматривающим

данную проблематику другим зарубежным авторам.

Начнем с блока книг, посвященных событиям 1968 г. В монографии словацкого историка С. Сикоры «1968 год и политическое развитие в Словакии» [1] дан детальный анализ попыток проведения коренной реформы «социализма советского типа» (так автор обозначает общественную систему, которая установилась сначала в СССР, а затем в странах Центральной и Юго-Восточной Европы). Реформы, которая, по словам автора, «содержала а priori некоторые вмонтированные в нее ограничители» [1. S. 9]. Таким серьезнейшим внутренним ограничителем автор считает попытки реформаторов – убежденных коммунистов – улучшить систему, не выходя за рамки своих идеологических установок, решающим же внешним ограничителем являлось вхождение ЧССР в зону организационных наднациональных политических и экономических структур – ОВД и СЭВ.

Сикора не задается целью охватить весь спектр событий демократического развития в ЧССР, ориентируясь прежде всего на Словакию. Именно в этом новизна его состоящей из пяти глав книги. Первая посвящена истокам глубокого общественно-политического кризиса; во второй рассматривается политическое развитие в Словакии в первом квартале 1968 г., итогом которого явилась Программа действий КПЧ; в третьей представлен анализ сложного процесса поляризации партийного руководства; в четвертой исследована специфика процесса демократизации в словацкой и чешской частях ЧССР (в том числе позиции национальных меньшинств: венгерского, русинско-украинского, а также цыганского); в пятой представлен кульминационный ее момент после майского (1968 г.) пленума ЦК КПЧ вплоть до принятия в середине октября закона о «временном» пребывании советских войск на чехословацкой территории.

Реформаторы трактовали необходимость модернизации социализма советского типа посредством рецепции мировых мегатрендов, подчеркивает автор, в первую очередь так называемой третьей волны (научно-технической революции), осознавая при этом, что без демократизации чехословацкой экономической и политической системы реализовать ее невозможно. Консерваторы же, концентрировавшиеся прежде всего в бюрократическом аппарате КПЧ, опасались подобного хода событий, поскольку «осознавали, что их недостаточное образование и очевидная некомпетентность не способны решать указанные глобальные задачи» [1. S. 10]. Столкновение между ними было неизбежно, на что указывает не только С. Сикора, но и практически все авторы работ, посвященных 1968 году.

В 2009 г. увидел свет коллективный труд словацких исследователей под руководством М. Лондака и С. Сикоры «1968 год и его место в нашей истории» [2], который представляет собой комплексное междисциплинарное исследование ключевых проблем 1968 года. Авторы – историки, политологи, философы, этнографы, культурологи, литературоведы, театроведы и музыковеды и др. – поставили цель выявить причины реформаторского движения в Чехословакии и охарактеризовать детерминанты общественно-политического развития в этот период. В книге представлены свидетельства сопротивления граждан Чехословакии оккупации страны, а также проанализированы последствия ее влияния на общественно-культурную сферу.

По убеждению авторов, причины событий 1968 года следует искать еще в «предвесенний» период – 1963–1967 гг., когда неспособность консерваторов в партии осуществлять реформы (импульс к которым, шедший от 1961 г., с запозданием пришел в Чехословакию) стала явной. Словацкие исследователи концентрируются на специфике приоритетов чехов и словаков в ходе процесса демократизации в 1968 г., занимаются поиском причин возникавших споров и дискуссий (закон о чехословацкой федерации, различия в развитии гражданского общества в чешской и словацкой частях единого государства, венгерское национальное меньшинство, проблема религиозной свободы и пр.).

В монографии акцентируется внимание на особенностях процесса демократизации в ЧССР в 1968 г., инициаторами которого являлись коммунисты-реформаторы, дается анализ и оценка основных программных документов, выявляется их противоречивость, а также непреодолимые барьеры при осуществлении преобразований в политике и экономике. «Внутренние лимиты, – констатируют авторы, - это непосредственно сами коммунисты-реформаторы. Их отличительная черта - своего рода коллективный характер, в котором просматривались многие, свойственные предшествующему периоду общественного развития противоречия, а также происхождение, жизненное кредо и психология функционеров КПЧ». Что же касается лимитов внешних, то ими, как подчеркивается в книге, являлась «принадлежность Чехословакии к зоне советских сателлитов в Центральной и Юго-Восточной Европе, которая формально репрезентовалась такими организациями, как СЭВ и ОВД. Хотя в данный период уже проходили переговоры между США и СССР о разоружении, эти усилия, направленные на разрядку напряженности, касались блоков, а не их внутренних структур. Именно такое железное единство и дисциплина, по мнению советского руководства, гарантировали в сложных переговорах с США оптимальный результат. Иными словами, международная обстановка не способствовала проведению чехословацких реформ» [2. S. 543–544].

Говоря о специфике Словакии, авторы указывают на существовавшую здесь проблему так называемых федералистов и демократов. Если первые добивались тесной связи общедемократических требований и стремлений ввести федеративное государственно-правовое устройство ЧССР, то вторых демократия особо не занимала. В этом они как бы блокировались с консервативно-догматическими представителями партийно-бюрократического аппарата: федерация их интересовала лишь постольку, поскольку она означала расширение их полномочий. Именно по этой причине они боролись за федерализацию не только ЧССР, но и КПЧ, заключают авторы.

Следовало бы добавить, что указанное противоречие было в полной мере использовано в планах по вводу войск в Чехословакию, а обещанная и полученная широчайшая автономия Словакии послужила тем троянским конем, из которого двадцать лет спустя вышли силы, приведшие единую Чехословакию к распаду.

Авторы делают вывод, согласно которому «вплоть до сегодняшнего дня не существует однозначной оценки целей реформы: должна ли она была лишь смягчить сталинский режим, или, напротив, приблизить его к сущностным характеристикам западной демократии, или же способствовать переходу к так называемому третьему пути — своеобразному синтезу восточного социализма и западной парламентской демократии» [2. S. 515].

Книга словацкого ученого С. Михалека «1968 год и Чехословакия: позиция США, Запада и ООН» [3], интересна тем, что автор помещает события 1968 года в широкий международный контекст, а относительно Словакии такой анализ предпринимается в историографии впервые. Автор пишет, что словацкая и чешская историография начали исправлять сложившийся ранее деформированный подход к оценкам чехословацкой весны 1968 г. и военного вторжения стран ОВД. Примечателен взгляд на них с учетом реакции Запада, особенно его либеральнодемократической составляющей.

Автор правомерно ставит задачу «частичного обобщения нынешнего состояния научного познания, которое в будущем, несомненно, будет углубляться на базе дальнейших научных архивных изысканий» (труд основан на материалах словацких, чешских и американских архивов). Проанализированы отношения США и ЧССР в момент августовского вторжения и непосредственно после него. В монографии ставится вопрос: почему США по отношению к ЧССР ограничились всего лишь, по словам Михалека, выражением «платонических

симпатий и вербальных протестов». «Фактически, — пишет он, — отношение Запада к чехословацкой весне и к насильственному ее подавлению иностранными войсками являлось за небольшими исключениями полностью в русле позиции Соединенных Штатов Америки; это отношение не является ни слишком уж неожиданным, ни удивительным, если учесть статус-кво биполярного в тот период мира» [3. S. 8].

Чехословацкий процесс реформ начался в период, когда две сверхдержавы – СССР и США – находились в стадии поиска модели мирного сосуществования и нашли его решение в политике разрядки. Совершенно однозначно выявилось, что такая политика, базирующаяся на взаимном признании status quo, являла собой определенную фазу холодной войны, в ходе которой ее главные акторы – Москва и Вашингтон – из корыстных побуждений избегали вмешательств в сферы интересов друг друга, констатирует С. Михалек. С учетом данного момента, который условно можно было бы назвать выведением из широкого исторического поля государств европейского «социалистического содружества», описывается рецепция революционных по своему характеру событий 1968 года на Западе. Справедливо утверждается, что тональность реакции на них в первую очередь задавали именно США, что побуждало некоторых западноевропейских политиков говорить об очередном «мюнхенском сговоре» относительно Чехословакии.

В конечном счете в контексте американских интересов Чехословакия выглядела «как не слишком важная социалистическая страна», а либеральный курс и его свертывание американцы считали внутренним делом восточного блока. «Эта позиция, — указывает автор, — проявилась еще на этапе подготовки вторжения, то есть она определенным образом способствовала укреплению убеждения СССР в том, что в случае применения им военной силы США не станут вмешиваться» [3. S. 136]. Подобную установку пришлось разделить и другим западным странам.

В книге отмечается беспомощность ООН, колеблющейся в вопросе осуждения военной оккупации суверенного государства армиями военного пакта, членом которого являлась и сама жертва. Автор небезосновательно подчеркивает, что подобного рода ситуация повторилась: впервые чехословацкий вопрос был включен в повестку дня Совета Безопасности (СБ) ООН после

пражского коммунистического переворота в феврале 1948 г. Предложенные в СБ ООН в 1968 г. резолюции должны были хотя бы декларативно осудить вторжение, однако вето СССР помешало их принятию. Сама же Чехословакия в лице министра иностранных дел И. Гаека (в документальном приложении книги публикуется его выступление 25 октября 1968 г. в СБ ООН) выражала в ООН в самом начале кризиса решительный протест против агрессии и требовала немедленного вывода иностранных войск из своей территории.

В книге дается однозначно отрицательный ответ на вопрос о том, могла ли быть успешной дубчековская попытка «социализма с человеческим лицом» в период биполярного мира. И историческую вину за это правомерно возложить как на Восток, так и на Запад.

В труде «1968 год и журналисты в Словакии» [4], подготовленном коллективом словацких специалистов во главе с Э. Лондаковой, впервые в словацкой и зарубежной историографии рассматривается роль деятелей средств массовой информации в процессе демократизации в Словакии в 1968 г. Авторы концентрируют внимание на активизации словацкой культурной жизни в период Пражской весны и отмене цензуры; проводят контент-анализ словацкой и чешской прессы в 1968 г.; оценивают СМИ как рупор обновленческих настроений внутри страны; рассматривают, как отразилась оттепель в документальных фильмах того периода.

Книга помогает увидеть, как одно из ключевых событий истории Чехословакии — и особенно Словакии — освещалось в средствах массовой информации, выражавших на то время чаяния большинства граждан страны. В ней подчеркивается бесспорная заслуга СМИ в пробуждении общественного сознания и изменении его утвердившихся в годы сталинизма стереотипов.

В коллективном труде словацких исследователей под руководством В. Быстрицкого «1968 год в Словакии и Чехословакии: хронология событий» [5] дается детальная хронология политического, социально-экономического и культурного развития ЧССР в 1968 г. на широком международном фоне. Книга является своего рода итогом многолетних плодотворных и скрупулезных изысканий коллектива авторов — сотрудников Института истории Словацкой академии наук. При этом хронология дополняется яркими комментариями, позво-

ляющими стереоскопически представить ход событий 1968 г. в первую очередь в Словакии.

Серьезным подспорьем для исследователей стал выход в свет очередной книги многотомной публикации документов в серии «Источники по истории чехословацкого кризиса в 1967–1970 гг.». Третий сборник третьего тома этого интересного издания (к настоящему времени увидели свет 25 книг), подготовленный Ф. Циганеком и О. Фелцманом, охватывает деятельность Национального собрания Чехословакии после возвращения из Москвы в конце августа 1968 г. представителей верховной власти [6]. Публикуемые в сборнике документы отражают процесс неизбежности постепенной «нормализации» высшего органа законодательной власти страны, т.е. его безоговорочного подчинения центральным партийным органам и их директивам.

Анализу переходных от 1968 года к 1989 году процессов посвящены монографии, в которых исследуются оппозиционные движения в Чехословакии и странах Центральной и Юго-Восточной Европы.

Монография чешского историка Я. Пажоута «Властным наперекор. Студенческое движение в шестидесятые годы XX в.» [7] написана на тему, которая не теряет своей актуальности и сорок лет спустя: студенческие движения как катализатор глубинных социальных перемен. Характерен ракурс анализа проблемы, который сводится сравнительно-историческому этих движений в Западной Европе и Чехословакии. Можно утверждать, что в этом плане 1968 год носил трансевропейский характер, на что еще два десятка лет тому назад указал английский исследователь Д. Каут [8], к сожалению, не упомянутый Пажоутом.

В книге рассматривается резкое обострение студенческих протестов в Европе в целом. Автор затрагивает его проявления как в западноевропейских странах, так и в Польше и Югославии, но более двух третей его книги анализируют это движение как раз в Чехословакии. Причина интенсификации данного движения заключается в следующем: и близкие к «классическому капитализму» общества Западной Европы, и «классические социалистические» общества в других частях континента подверглись некой социальной усталости.

Послевоенные проблемы во многом были решены, западноевропейские стра-

ны в большей мере, а остальные в меньшей вступали в фазу постиндустриального развития, связанного со значимым повышением роли интеллигенции. Происходила мировоззренческая революция, связанная с именами не только Маркса, но и Мао. Все это можно считать побудительными причинами данного не только трансевропейского, но и транснационального движения. Нельзя забывать и о взрыве именно в это время студенческих протестов в США, а также в Японии и Австралии.

Книга Пажоута не только выявляет указанный характер данного движения, но и прослеживает его траектории. Наиболее трагически закончилась чехословацкая траектория, и нельзя сказать, чтобы это выглядело некой случайностью. Дело в том, что здесь вектор социальных поисков студентов совпал с другим, более значительным, вектором - ориентацией на «социализм с человеческим лицом», который, собственно, и был призван преодолеть упомянутую усталость как капитализма, так и социализма. И в данном случае книга интересна не только тем, кто интересуется молодежными движениями, но и тем, кто прослеживает судьбу самой идеи социализма.

Первая часть книги посвящена студенческому движению в Западной Европе, причем автор проследил жизненные траектории руководителей этого движения, многие из которых в дальнейшем вполне конструктивно вмонтировались в ту систему, против которой столь яростно выступали. Это касается, к примеру, француза Даниэла КонБендита и ставшего западногерманским министром Йошки Фишера, да и не только их одних.

В кратком экскурсе, касающемся студенческого движения в Польше и Югославии, автор показывает, что и здесь его лидеры не были отодвинуты на периферию политической жизни, а некоторые из них подключились к движению Солидарности (например, Адам Михник). Наиболее отодвинутыми от участия в политической жизни оказались студенты Чехословакии — отодвинутыми, но не потерявшими своего заряда социального критицизма, что и показали события уже 1989 г.

Книга Пажоута — интересное междисциплинарное исследование, которое демонстрирует плодотворность сопоставительного анализа некоего единого движения, охватывающего многие страны. Студенческое движение носило глобальный характер почти одновременно с появлением термина «глобальные проблемы» в широком научном обороте. Особо хотелось бы подчеркнуть многочисленные обращения к архивным источникам, которые свидетельствуют о разнообразии идей и одинаковости судеб, присущих участникам этого лвижения.

Книга позволяет понять полнее, почему инициаторами радикальных движений 1989 года выступили как раз студенты в Чехословакии, что иногда едва ли не нарочито забывается в пользу тех, кто возглавил эти массовые движения уже после их начала. Именно студенчество одним из первых поняло и то, что идея «социализма с человеческим лицом» имела гораздо более сложную судьбу, чем это предполагалось ее носителями. В частности, одна группа говорила примерно так: если уж социализм, то радикальный (П. Ул), а другая утверждала: может, лучше вообще обойтись без социализма. И лишь сравнительно небольшая часть допускала приемлемость «социализма с человеческим лицом» с новыми мыслеобразованиями, отвечающими реалиям уже XXI в. Анализ диверсификации подобных взглядов - несомненное достоинство книги.

монографии чешского И. Хоппе «Оппозиция'68. Социал-демократия. КАН и К 231 в период Пражской весны» [9] дается срез чешского гражданского общества в период Пражской весны, идеологи которой преследовали в качестве одной из главных целей отмену правления одной партии и формирование плюралистической политической системы. Феномен возрождения гражданского общества прослеживается в книге в трех ипостасях: гражданско-политическая активность, нацеленная на возрождение традиционной политической партии (социал-демократия); клубная деятельность беспартийной части общества при создании клуба КАН (Клуб ангажированных беспартийных); организация К 231 – объединения бывших политзаключенных.

Книга интересна не только тем, что вводит в научный оборот новые источники, но и тем, что в ней адекватно описываются те ростки гражданского общества, которые после Пражской весны не были уничтожены «морозом, веющим из Кремля» и которые бурно расцвели уже осенью 1989 г.

Рассмотрение новейших работ, посвященных непосредственно событиям 1989 г., можно начать с коллективного труда словац-

ких историков «Ноябрь 1989 года – рубеж в развитии словацкого общества и его международный контекст» [10], поставивших перед собой задачу представить события осени 1989 г. в Словакии в хронологическом ключе. В ней представлен и корректно охарактеризован широкий спектр словацких протестных антинормализационных движений: религиозных, включая «тайную церковь», экологических, студенческих, диссидентских и др. Учитываются и внешние факторы, интенсифицировавшие эти движения, что отражено даже в названии вводной статьи «Словакия на пути к политической и гражданской свободе (от прихода к власти Михаила Горбачева в марте 1985 г. до первых свободных выборов в июне 1990 г.)». В книге выделяется период нарастания протестных движений от мирного шествия со свечами в марте 1988 г. до середины ноября 1989 г., а также результат: смена общественной системы в Словакии и в Чехословакии после 17 ноября 1989 г. до парламентских выборов в июне 1990 г.

Ценным в данном труде является то, что в нем дается детальный хронологический срез памятных исторических событий осени 1989 — лета 1990 гг. в Словакии на широком международном фоне, показано, что отношение Востока и Запада к чехословацким событиям было противоположным тому, которое имело место в 1968 г.

Публикация подготовленных чешским историком В. Пречаном документов из архивов министерств иностранных дел ФРГ и ГДР называется «К свободе через Прагу» [11]. Она посвящена проблематике исхода граждан из Восточной в Западную Германию и охватывает период с августа 1989 г. по март 1990 г. Эти документы, включая депеши из посольств ГДР и ФРГ в Праге, дают возможность найти новые подходы к изучению комплекса взаимоотношений (ФРГ – ЧССР, ГДР – ЧССР) на рубеже двух эпох.

В книге отмечены важнейшие вехи в истории новых чехословацко-германских отношений: встречи министров И. Динстбира и Д. Геншера в связи с символическим демонтажем колючей проволоки на границе 23 декабря 1989 г., визит президента В. Гавела в Берлин и Мюнхен 2 января 1990 г. и ответный визит президента Р. Вайцзеккера в Прагу 15 марта 1990 г. (он состоялся спустя 51 год после другого «визита» в Пражский град 15 марта 1939 г.).

Документы отражают перипетии, связанные с исходом восточных немцев в ФРГ

в течение 12-ти недель конца лета—осени 1989 г., когда их убежищем стало западногерманское посольство в Праге. Они фиксируют три волны исхода граждан ГДР в ФРГ: 30 сентября — 1 октября (отъезд более 6 тыс. чел.); 4—5 октября (8270 чел.). С 4 ноября (в этот день отправлены шесть поездов с 6453 чел., а также от 500 до 800 чел. на личном автотранспорте) началась третья волна исхода, кульминировавшая после падения Берлинской стены. По данным федерального МИД ЧССР, в период с 4 по 10 ноября 1989 г. через ЧССР в ФРГ отбыли 62 500 восточногерманских граждан.

К 20-летнему юбилею «бархатной» революции коллективом чешских журналистов издан труд «Взгляд десяти. Решающие события смены власти в 1989 году глазами ключевых фигур по обе стороны политического спектра» [12], который относится к категории «устной истории» (oral history). Его составителям удалось получить свидетельства о событиях 1989 года от их непосредственных участников «по обе стороны баррикад». Это ключевые фигуры правившей в конце 1980-х годов чехословацкой партийно-государственной элиты (Я. Фойтик, М. Якеш, О. Крейчи, М. Штепан, М. Вацек), а также их «контрагенты» – представители чехословацкого протестного движения (М. Коцаб, Л. Кантор, И. Динстибир, П. Братинка, В. Комарек).

Составители книги задаются вопросом: как могли столь фундаментальные преобразования общественной системы в Чехословакии произойти без сколько-либо значительного сопротивления представителей бывших правящих структур и практически были преподнесены, по словам составителей, «на блюдечке с голубой каемочкой». Воспоминания десяти бывших участников событий двадцатилетней давности авторы публикации считают «субъективными, но вместе с тем и аутентичными» [12. S. 5]. Примечательно, что публицисты, интервьюировавшие действующих переломного в истории страны момента, придерживались различных политических взглядов - но они предоставляли своим собеседникам полную свободу в выборе вопросов и их интерпретации.

Юбилейным датам посвятили свои работы не только словацкие и чешские, но также другие зарубежные авторы.

Украинский историк Ю. Каганов в монографии «Оппозиционный вызов. Украина и Центрально-Восточная Европа 1980-х —

1991 гг.» [13] предпринял попытку сравнительного исследования украинского и центрально-восточноевропейского вариантов оппозиционного антикоммунистического движения в 1980-е — 1991 гг. Автору удалось выявить общие векторы развития оппозиционного движения в ряде стран Центральной и Юго-Восточной Европы (Болгария, Польша, Румыния, Чехословакия) и на Украине, а также провести продуктивный их анализ в главах и параграфах, посвященных хартистскому движению, а также роли молодежи в период демократического транзита, особенно студенческому движению в Чехословакии ноября 1989 г.

Заслуживает глубокого уважения практически исчерпывающий анализ историографии проблемы: труды структурируются в соответствии с «моделью конуса» с обоснованным и доказательным выделением в нем четырех уровней. Следует, правда, указать на некоторый отрыв от российской историографии в трактовке этого движения в пользу, скажем так, проевропейской его составляющей. Автор имеет право на данную позицию, но хотя бы упомянуть о данном – втором - контексте, на наш взгляд, стоило бы. Тем более, что он не выходит за рамки академической парадигмы в интерпретации весьма сложной проблемы роли и функции оппозиционного движения в собственно Украине.

Чем объяснить внимание к этой тематике именно украинских исследователей? Многое связано с желанием следовать европейскому вектору развития событий. Не ставя акцента на данном моменте, можно все же указать на наличие объективного запроса на подобного рода исследования с достаточными основаниями.

Естественно, в указанных выше трудах охвачены не все темы, поэтому есть все основания предполагать, что поднятая в них проблематика могла бы послужить темой совместных разработок историков, поскольку резонанс от движения 1968 года ощущался не только в 1989 году. И со стороны отечественных историков неплохо было бы попытаться найти аналоги этого движения в СССР, если согласиться с тем, что оно носило транснациональный характер.

Не мог не откликнуться на 20-летие «бархатной» революции и известный английский историк и политический аналитик Т.Г. Эш. Примечательны его суждения относительно того, что сам этот термин в связи с осенними событиями в Чехословакии

был пущен в оборот западными журналистами и лишь затем подхвачен В. Гавелом. В дальнейшем им обозначался поток более поздних «революций с определениями»: в странах Балтии — «поющей» революции, «революции роз» в Грузии, «оранжевой» на Украине, «кедровой» в Ливане, революции «тюльпанов» в Киргизии, — вплоть до летних месяцев 2009 г., когда за попытку осуществить «бархатную» революцию в Иране на показательном процессе были осуждены некоторые оппозиционные политики и интеллектуалы. Конца подобного рода революциям не видно и сегодня...

Архетипической, однако, стала именно революция в Чехословакии как ненасильственное и антиутопическое движение — в отличие от других революций. При этом — афористически, как обычно, говорит Эш, — если тотемом революций, похожих на 1789 год, была гильотина, то в революциях 1989 года им стал круглый стол, что впервые проявилось в соседней с Чехословакией Польше (это отмечается в статье выпущенного под его редакцией сборника «Гражданское сопротивление и властная политика: опыт ненасильственных действий от Ганди до наших дней» [14]).

В каком-то смысле «бархатная» революция выглядела как реставрация, маркируемая «возвращением в Европу», а заодно и восстановлением «власти народа». Важной ее характеристикой – как и большинства из вышеупомянутых революций – является также то, что они электоральные: власть меняется по итогам выборов. В книге подчеркивается, что ненасильственные действия впервые стали элементом политического процесса в Индии при Махатме Ганди и что слова представителей Гражданского форума (Бюллетень от 2 декабря 1989 г.) явились повторением его позиции.

Еще в одной коллективной монографии «Демократия и авторитаризм в посткоммунистическом мире», также выпущенной под редакцией Т.Г. Эша и включающей его статьи, утверждается, что «бархатная» (и аналогичные) революция — продукт не только природы того государства и общества, где она происходит, но также того места, которое они занимают в международных отношениях [16]. В крупном государстве (например, Китай) она произойти не может, равно как и в странах, находящихся на периферии интересов Запада — в той же Бирме. Вряд ли стоит напоминать, что Чехословакия и другие соседние страны Центральной Европы

в конце 1980-х годов находились отнюдь не на периферии истории, как это имело место в 1968 г.

Особо тщательно отмечена указанным автором специфика электоральной революции в Чехословакии, включая выборы президента В. Гавела подавляющим парламентским большинством, где уже просто количественное большинство составляли коммунисты. Синонимом этой революции поэтому является и выражение «переговорная» революция, хотя 20 лет спустя все четче обнаруживается, почему и нынешний президент Чехии В. Клаус говорил тогда, форсируя приватизацию, что скорость важнее четкости.

Это, на наш взгляд, значит, что в проблеме соотношения переговоров (процесса по определению длительного и скрупулезно взвешиваемого) и революции (события стремительного и эйфорически «праздничного») разбираться еще предстоит всем историкам.

Приведенные в обзоре книги, в том числе публикации новых архивных документов, — еще один серьезный шаг, а, возможно, и ключ к пониманию исторических событий 1968 и 1989 гг. в их взаимной связи. Они намечают пути к разгадке некоторых все еще остающихся неразгаданными явлений новейшей чехословацкой, чешской и словацкой истории, открытию их дополнительных граней в заключительном двадцатипятилетии существования единого государства чехов и словаков.

© 2011 г. Э.Г. Задорожнюк

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Sikora S. Rok 1968 a politický vývoj na Slovensku. Bratislava, 2008.
- 2. Londák M., Sikora S. a kol. Rok 1968 a jeho miesto v našej historii. Bratislava, 2009.
- 3. *Michálek S.* Rok 1968 a Československo. Postoj USA, Zapadu a OSN. Bratislava, 2008.
- 4. *Londáková E. a kol.* Rok 1968 a novinári na Slovensku. Bratislava, 2008.
- 5. *Bystrický V. a kol.* Rok 1968 na Slovensku a v Československu: chronológia udalostí. Bratislava, 2008.
- Ciganek F., Felcman O. Národní shromáždění.
 Prameny k dějinám československé krize v letech 1967–1970. Praha; Brno, 2009. D 3.
 Svazek 3. Srpen 1968-prosinec 1969.
- Pažout J. Mocným navzdory. Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století. Praha, 2008.
- 8. *Caute D*. Sixty eight: The Years of the Barricade. London, 1988.
- 9. *Hoppe J.* Opozice'68. Sociální demokracie, KAN a K 231 v období pražského jara. Praha, 2009.
- Žatkuliak J. a kol. November'89 medzník vo vývoji slovenskej spoločnosti a jeho mezinárodný kontext. Bratislava, 2009.
- Prečan V. Ke svobodě přes Prahu. Exodus občanů NDR na podzim 1989. Sborník dokumentů. Praha, 2009.
- 12. *Spáčil D., Sýs K. a kol.* Viděno deseti. Rozhodující události mocenského zvratu v roce 1989 očima klíčových osobností z obou stran politického spektra. Praha, 2009.
- 13. *Каганов Ю.* Опозиційний виклик: Україна і Центрально-Східна Європа 1980-х—1991 рр. Запоріжжя, 2009.
- 14. Civil Resistance and Power Politics: The Experience of Non-violent Action from Gandhi to the Present / Eds. by A.Roberts, T.G. Ash. Oxford, 2009.
- Democracy and Authoritarianism in the Postcommunist World / Eds. by V. Bunce, M. McFaul, K. Stoner-Weiss. Cambridge, 2009.





К ЮБИЛЕЮ ГРИГОРИЯ ЛЬВОВИЧА АРША

В ноябре 2011 г. исполнилось 85 лет одному из ведущих российских историков-балканистов, специалисту в области изучения истории Албании, Греции, международных отношений на Балканах и российско-балканских связей, ведущему научному сотруднику Отдела истории славянских народов Юго-Восточной Европы в Новое время Института славяноведения РАН, доктору исторических наук Григорию Львовичу Аршу. У него за плечами – боевой путь на фронтах Великой Отечественной войны, десятилетия научно-исследовательской работы в системе Российской академии наук, более двухсот монографий, статей и других научных работ.

Г.Л. Арш родился в 1925 г. в Архангельске. Как и многие представители его поколения, он ушел на фронт сразу после окончания средней школы в 1943 г. Был ранен, за боевые заслуги награжден орденом Красной Звезды и медалями. После окончания войны Г.Л. Арш поступил в Ленинградский университет, который окончил в 1951 г. специалистом в области всеобщей истории. В соответствии с существовавшими в те годы правилами распределения, он несколько лет проработал учителем в ленинградской школе, а затем поступил в аспирантуру Института истории АН СССР.

В 1959 г. Г.Л. Арш защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Некоторые вопросы истории Южной Албании конца XVIII – начала XIX в.» К этому времени он стал ведущим в СССР специалистом по истории Албании – страны, отношения с которой в те годы отличались активной, но не всегда позитивной динамикой. Глубокое знание албанского языка и литературы, архивных документов и других источников придавали его трудам фундаментальность и всесторонность, а принципиальная и объективная позиция позволяла аргументированно высказываться по проблемам, относившимся тогда к зоне повышенного политического риска. Первый посвященный албанской истории труд в отечественной историографии – «Краткая история Албании» (М., 1965) – увидел свет спустя всего лишь несколько лет после драматического разрыва советско-албанских отношений. Неудивительно, что данная работа сразу же стала библиографической редкостью. Но большой интерес читателей определялся еще и высоким научным уровнем авторского коллектива, ключевая роль в котором принадлежала Г.Л. Аршу. К этому времени вышла уже и его индивидуальная монография «Албания и Эпир в конце XVIII - начале XIX в. (Западнобалканские пашалыки Османской империи)» (М., 1963), подготовленная на основе кандидатской диссертации, но с привлечением большого количества новых материалов. С этого момента и до сегодняшнего дня Г.Л. Арш является признанным авторитетом по истории Албании и российско-албанским связям, труды которого охватывают многовековые пласты – от раннего Средневековья до Нового и новейшего времени. В 1992 г. увидела свет «Краткая история Албании. С древнейших времен до наших дней» (М., 1992). Ее ответственным редактором и одним из авторов стал Г.Л. Арш, а само издание до настоящего времени остается главным обобщающим трудом по албанской истории.

История Албании рассматриваемого периода подробно проанализирована Г.Л. Аршем в принадлежавших его перу разделах семитомной серии коллективных монографий «Международные отношения на Балканах». В авторских разделах Г.Л. Арша анализ динамики международной обстановки на Балканах базируется на доскональном знании архивных материалов, мировой научной литературы, других источников, а в качестве методологиче-

ской базы выступают те самые принципы регионального подхода и междисциплинарных исследований, которые сегодня являются общепризнанными во всем мире.

Неудивительно, что блестящее знание не только истории собственно Албании, но и балканского региона в целом побудило ученого еще в 1960-е годы вплотную заняться и южной албанской соседкой — Грецией. Исторически сложные и противоречивые греко-албанские отношения во многом определяли и продолжают определять динамику всей ситуации на Балканах — но, кроме того, обращение к греческим сюжетам позволило Г.Л. Аршу выявить и досконально проанализировать новые ключевые аспекты балканской политики России.

В многогранной истории Греции внимание исследователя с самого начала привлекли важнейшие страницы героической борьбы греческого народа за свое национальное освобождение, пользовавшейся поддержкой России. Греческая революция 1821–1829 гг. открыла новую страницу в истории эллинской государственности – и на этой странице засверкали имена любимых героев Г.Л. Арша – А. Ипсиланти и И. Каподистрии – оставивших ярчайший след и в российской истории. Благодаря неизвестным ранее дипломатическим документам и другим источникам, ученому удалось нарисовать комплексную картину развития обстановки на Балканском полуострове в первой половине XIX в., показать место данного региона в системе внешнеполитических приоритетов России, проанализировать многочисленные проекты «обустройства» Балкан, принадлежавшие греческим и российским государственным, политическим и общественным деятелям, рассмотреть двусторонние российско-греческие политические, экономические, культурные связи, изучить деятельность греческих общин на территории Российской империи. В 1969 г. Г.Л. Арш защитил в Институте славяноведения и балканистики АН СССР диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук на тему «Этеристское движение в России. Освободительная борьба греческого народа в начале XIX в. и русско-греческие связи» – уже в следующем году увидевшую свет в виде индивидуальной монографии (М., 1970). А вышедшие в последние годы из-под пера Г.Л. Арша статьи «К вопросу о национальном самосознании греков в канун революции 1821–1829 гг.» (в сборнике «Греческий мир XVIII–XX вв. в новых исторических исследованиях». М., 2006), «Российский государственный филэллинизм XVIII столетия» (в сборнике «От Средневековья к Новому времени». М., 2006), «Греческая революция 1821–1829 гг.: люди и события» (в книге «История и современность». М., 2008), и многие другие позволяют по-новому взглянуть на важнейшие аспекты, проявления и движущие силы процессов, протекавших на Балканах в Новое время.

Десятки трудов Г.Л. Арша переведены на албанский, греческий, английский, французский и другие европейские языки. Помимо авторской, он активно занимается редакторской работой: особое место в ней принадлежит выпускам «Балканских исследований». Ученый принимает участие в научной и общественной жизни Института славяноведения — невзирая на лица отстаивая свое видение путей развития отечественной науки, выступая за сохранение богатейших традиций отечественной славистики и балканистики, жестко критикуя негативные и опасные тенденции в российском обществе и государстве. Научные доклады и выступления Г.Л. Арша по острейшим балканским проблемам — в том числе косовской — всегда отличаются глубиной анализа, объективностью, принципиальностью, неприятием политических спекуляций и дешевых публицистических сенсаций.

Когда в конце 1980-х – начале 1990-х годов для российских исследователей вновь стала открываться Албания – Григорий Львович охотно взял на себя роль не только докладчика, но и своего рода гида по истории и современности этой уникальной европейской страны для российских участников научных форумов в Тиране и других албанских городах. И в стенах Института славяноведения РАН он также неизменно охотно помогает молодым коллегам советом и добрым словом.

Многочисленные коллеги и читатели желают Григорию Львовичу Аршу доброго здоровья, новых творческих свершений, личного счастья и долгих лет жизни.

Дирекция и коллектив Института славяноведения РАН присоединяются к поздравлению и желают Григорию Львовичу здоровья и творческих успехов.

© 2011 г. Коллеги

НЕКРОЛОГИ



ПАМЯТИ ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА ГРАЧЕВА (1926–2010)

18 августа 2010 г. на 85-м году жизни скончался видный ученый-югославист, доктор исторических наук Виктор Петрович Грачев. Добросовестный труженик науки, вдумчивый исследователь, прекрасный знаток архивов — он оставил заметный след в изучении ряда важнейших проблем истории Сербии и русско-сербских отношений.

Ушел из жизни не только ветеран науки, но и ветеран Великой Отечественной войны, выпустивший свою последнюю книгу накануне 65-летия Великой Победы. Вечная ему память!

В.П. Грачев родился 3 января 1926 г. в с. Гремячка Вязовского района Саратовской области в крестьянской семье. 30 ноября 1943 г. он был призван в армию и после соответствующей подготовки направлен в 93-й отдельный радиодивизион Ставки Главного командования, находившийся в тот период в составе 1-го Украинского фронта. С окончанием войны армейская служба для солдата Грачева не закончилась — он был демобилизован лишь в 1950 г. Ускоренно завершив среднее образование, Виктор Петрович в 1951 г. стал студентом исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, избрав в качестве специализации историю югославянских народов.

После окончания университета в 1956 г. В.П. Грачев был направлен на работу во Всесоюзную контору «Книгоимпорт», затем поступил в аспирантуру Института славяноведения АН СССР. И с тех пор его жизнь была неразрывно связана с этим научным учреждением.

В первые годы научной деятельности, начиная с аспирантуры, Виктор Петрович специализировался в области средневековой истории югославянских народов. Он подготовил и в 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Административное (жупное) управление в Сербии X–XIV вв. Опыт критического анализа взглядов на политическую организацию средневековой Сербии». Впоследствии, в 1972 г., эта работа была издана в виде монографии «Сербская государственность в X–XIV вв. Критика теории жупной организации».

Наряду с этим в 1960-е годы В.П. Грачев активно участвовал в работе по подготовке Институтом славяноведения советско-болгарской публикации документов «Освобождение Болгарии от турецкого ига» (М., 1961–1967. Т. I–III), выступал со статьями в научной печати и докладами на различных конференциях.

С начала 1970-х годов Виктор Петрович был включен в межгосударственный советско-югославский научный проект по подготовке публикации документов «Первое сербское восстание 1804—1813 гг. и Россия» (М., 1980—1983. Т. І—ІІ). С тех пор его научная жизнь была тесно связана с Новой историей Сербии и русско-сербских отношений в конце XVIII— начале XIX вв.

В декабре 1990 г. он защитил докторскую диссертацию на тему: «Кризис в балканских владениях Османской империи на рубеже XVIII–XIX вв. и его взаимосвязь с предпосылками и начальным этапом Сербского восстания 1804–1813 гг.». Результаты своих научных изысканий Виктор Петрович также изложил в монографии «Балканские владения османской империи на рубеже XVIII–XIX вв.» (М., 1990). В этих трудах были поколебле-

ны многие историографические мифы, в частности, о сознательном и неизменном выборе сербского народа в пользу независимой государственности в самом начале восстания. Пересмотру подверглись также взгляды на внешнюю политику России в этот период.

В последующие годы В.П. Грачев продолжил изучение архивных материалов по истории Первого сербского восстания. Он стал его «летописцем», буквально по дням прослеживая ход событий в повстанческой Сербии, а также действия российской дипломатии и политику других великих держав. В своих трудах Виктор Петрович всегда шел от источника. Уникальные материалы отечественных архивов, которые он так обильно цитировал, давали возможность делать важные, обоснованные выводы и создать более объективную картину происходившего. В этом отношении примечательна монография В.П. Грачева «Сербы и черногорцы в борьбе за национальную независимость и Россия (1805–1807 гг.)» (М., 2003), в которой основное внимание уделено выработке и проведению балканской политики России в контексте международных отношений эпохи наполеоновских войн.

Продолжением этой книги стала вышедшая в апреле 2010 г. монография В.П. Грачева — «Первое сербское восстание и Россия во время русско-турецкой войны 1806-1812 гг. Часть первая (1806-1809 гг.)».

Виктор Петрович подготовил к печати еще две монографии — о заключительном этапе Первого сербского восстания и о Бухарестском мире 1812 г. и его значении для истории Сербии. В последние годы своей жизни он работал, как всегда, очень увлеченно, не утратив интереса к науке, несмотря на практически потерянное зрение. Ученый имел возможность творить, окруженный вниманием и заботой своей семьи, помогавшей ему в научной работе.

Своей научной деятельностью В.П. Грачев внес важный вклад в развитие российскосербских научных связей второй половины XX в. Глубокие знания, профессионализм исследователя, преданность науке, человеческая порядочность, твердость в отстаивании своих жизненных и научных принципов снискали Виктору Петровичу глубокое уважение коллег, в том числе за рубежом. О нем и его трудах высоко отзывались академики Васа Чубрилович и Славко Гаврилович, Пера Милосавлевич, Неманя Маджарович, Климент Джамбазовски и др.

Горько сознавать, что Виктор Петрович ушел от нас навсегда. Но... остались его прекрасные труды и, конечно, наша память о нем – коллеге, друге, светлом человеке!

© 2011 г. Коллеги

CONTENTS

ARTICLES

Filatova N.M. (Moscow). Polish Writers about Alexander I	3
Iskenderov P.A. (Moscow). History of Kosovo: Inter-Ethnic Aspects	18
Makarova I.F. (Moscow). On the Targets of Bulgarian Church Movement (after 1856)	29
Romanenko S.A. (Moscow). Austria-Hungary and the Balkans as Viewed by Theorists of the Russian Socialists in 1908–1917	41
Zabelina N. Yu. (Moscow). Serbians as Seen by Britains During the World War I	53
Marjina V.V. (Moscow). USSR during the Great Patriotic War (1941-1945) in Slo	
Historiography of the Last Two Decades	64
Leshchilovskaya I.I. (Moscow). Literary Process in Croatia and Slavonia in 18 th Century	79 95
<i>.</i> ,	73
COMMUNICATIONS	
Sukhova N.Yu. (Moscow). Radoslav Raditch and the Moscow Theological Academy	105
REVIEW-ARTICLES AND REVIEWS	
Petrovskaya O.V. Revolutionary Russia of 1917 and the Polish Question: New Sources, New Views	112
Zadorozhnyuk E.G. New Books About Key Events of Czechoslovak History in the Second Half	112
of the 20th Century (Topics Review)	116
ANNIVERSARIES	
Towards the Anniversary of Grigory Lvovich Arsh	124
OBITUARIES .	
In Memoriam of Victor Petrovich Grachev	126
Сдано в набор 30.09.2010 Подписано в печать 12.11.2010 Формат бумаги 70 × 100 ¹ /	
	16
Цифровая печать. Усл.печ.л. 10,4 Усл.кротт. 2,5 тыс. Учизд.л. 12,0 Бум.л. 4,0 Тираж 301 экз. Зак. 903	
Учредители: Российская академия наук, Институт славяноведения РАН	

Издатель: Российская академия наук. Издательство «Наука», 117997 Москва, Профсоюзная ул., 90 Адрес редакции: 119991, Москва, Ленинский проспект, 32a. Телефон 938-01-20

E-mail: zhurslav@mail.ru Оригинал-макет подготовлен АИЦ «Наука» РАН

Отпечатано в ППП «Типография "Наука"», 121099, Москва, Шубинский пер., 6